

Сергей Дурьин  
Тихие яблони

Вновь обретенная русская проза



*3-издание*

Сергей Дурылин

**Тихие яблони. Вновь  
обретенная русская проза**

«Никея»

УДК 821.161.1  
ББК 86.372+84(2Рос=Рус)1

**Дурылин С. Н.**

Тихие яблони. Вновь обретенная русская проза /  
С. Н. Дурылин — «Никея»,

ISBN 978-5-91761-795-4

Писатель, богослов, педагог, театральный и литературный критик С. Н. Дурылин — яркий и незаслуженно забытый представитель русской культуры первой половины XX столетия. Его повести и рассказы, открывающие нам мир простой, искренней, «немудрящей» веры и крепкого купеческого быта, печатались редко и почти неизвестны широкому кругу читателей. В этот сборник вошли разноплановые произведения Дурылина: это и лиричная и пронзительная повесть «Сударь кот», и трогательный, грустный рассказ «Бабушкин день», и былинное «Сказание о невидимом граде Китеже», и некоторые другие.

УДК 821.161.1

ББК 86.372+84(2Рос=Рус)1

ISBN 978-5-91761-795-4

© Дурылин С. Н.  
© Никея

## Содержание

Предисловие	5
Сударь кот	9
Часть I	10
Часть II	34
Конец ознакомительного фрагмента.	39

# Дурылин Сергей Николаевич

## Тихие яблони

### Составитель Наталия Виноградова

#### Предисловие

Перед вами книга Сергея Николаевича Дурылина (1886–1954) – писателя, ученого, священника и педагога. В нее вошли повесть «Сударь кот», рассказы и «Сказание о граде Китеже». Написаны они были в 1913–1924 годах, в одно десятилетие, но сколько событий оно вместило – в жизни страны и в жизни автора: начало Великой войны, как справедливо называли Первую мировую, крушение Российской империи, две революции, Собор Русской Православной Церкви 1917–1918 годов и восстановление Патриаршества, Гражданскую войну и гонения на Церковь. Автору, одинокому больному человеку, уже известному писателю и деятелю Серебряного века, тоже выпало на долю немало: судьбоносная поездка с матерью в Оптину пустынь накануне ее смерти (в те годы он мечтает о монашестве и не получает на это благословения), закрытие Троице-Сергиевой Лавры и работа по спасению ее культурных сокровищ, принятие священства в столь непростое время в храме Николы в Клённиках у старца Алексия Мечёва по благословию оптинского старца Анатолия (Потапова), арест, ссылка в Челябинск.

Творчество С. Н. Дурылина велико и разнообразно: им было создано более 800 статей и множество книг об артистах, писателях, художниках, воспоминания, романы, повести, рассказы и стихи. Книги и статьи эти найдешь только в больших библиотеках, ведь они выходили не меньше полувека тому назад, а многие – и больше ста лет. Замечателен его роман-воспоминание о семье, родителях, няне «В родном углу», книги о классиках – Лермонтове, Гоголе, Лескове, огромная монография «Русские писатели у Гёте в Веймаре», где много открытий, две книги о Михаиле Васильевиче Нестерове, дружба с которым продлилась несколько десятилетий. Рассказы и эссе в духе Серебряного века, очерки о путешествиях по Русскому Северу, статьи о русской иконописи, тогда только что открытой на удивление всему культурному миру. Многое еще лежит в архивах и, появляясь в печати, радует нас.

Начиная с 2000 года наследие Дурылина стали переиздавать, вышел роман «Колокола», появились статьи о нем самом и его творчестве. Недавно вышла его биография в серии «Жизнь замечательных людей». Но всё же знают о нем мало, и сравнительно немногие, – такой выбор сейчас книг, и тиражи небольшие. А жаль, Сергей Николаевич Дурылин – яркий писатель, замечательный ученый-театровед, историк литературы и очень интересный человек.

На жизненном пути Сергея Николаевича было много разного, трудного, сложного. И откликами на события, и впечатлениями его жизни «прошито» его творчество. Дурылин родился в московской купеческой семье. Еще в отрочестве Сережи его отец разорился и умер, мальчик остался с матерью и братом. Из гимназии Сережа ушел после шестого класса – из-за казенной муштры, а также отказавшись от обучения как «привилегии, которой лишена большая часть народа», – сказалось влияние толстовства, которому он отдал немалую дань. В юности Дурылин увлекся революционным движением, отошел от него после гибели ближайшего друга, участника боевой дружины. Потерял веру. Преподавал, работал в толстовском издательстве «Посредник», ездил в Ясную Поляну. Потом было обучение в Археологическом институте, начало возвращения к вере, поездки на Русский Север, прикосновение к тому миру, где был жив уклад Древней Руси и где особый строй людей и природы.

В Москве Дурылин сближается с кругом писателей Серебряного века – Андреем Белым, Эллисом, а затем и с Религиозно-философским обществом памяти В. Соловьева, секретарем

которого он был в 1912–1918 годах, до его закрытия. Литературные труды, доклады, переводы принесли Дурылину немалую известность, получил он признание и как талантливый педагог (его учениками были Ильинский, Пастернак). Постепенно Дурылин сближается со славяно-фильским и церковным кружком Новоселова.

В 1913 году попадает в Оптину пустынь к старцу Анатолию, чье духовное наставничество во многом определяет его дальнейшую судьбу. После революции живет в Сергиевом Посаде, общается с о. Павлом Флоренским и В. В. Розановым, чья творческая отзывчивость на события жизни близка Дурылину. Присутствует при кончине Розанова.

В 1920 году Дурылин становится священником, приняв целибат, и начинает служить в храме известного московского старца Алексия Мечёва. Летом 1922 года его арестовывают, сам Дзержинский требует наказать партийцев, просивших за Дурылина. После года тюрьмы, будучи выслан в Челябинск, Дурылин работает в краеведческом музее. В помощь ему отец Алексей посылает энергичную прихожанку Ирину Алексеевну Комиссарову, напутствуя ее словами: «Береги его, он нужен людям». Она становится на всю жизнь ангелом-хранителем Сергея Николаевича.

По возвращении в Москву в 1924 году Дурылин продолжает литературную и педагогическую работу, но в приход Никольского храма не возвращается. В Крыму знакомится с Володиным и художником Богаевским, работает в Абрамцеве и Муранове, музее Тютчева. Вновь арестован в 1927 году, сослан в Томск, где работы не имеет, живет тяжело, болеет. Через три года переезжает в Киржач, много трудится там как историк литературы.

В 1934 году, устав от гонений, Дурылин решается на гражданский брак с Ириной Алексеевной (от него требовали отречения от сана). Внешне жизнь налаживается, удается построить дом в Болшеве. В нем проходят почти двадцать лет, наполненные самым интенсивным творчеством. Там он и служит тайно для своих ближайших друзей, но вне общины храма, ушедшей в подполье. Теперь он хранитель и певец традиций и наследия русской культуры, несет ее память и дух новому читателю.

Дурылин пишет о Малом и Художественном театрах, многие из артистов становятся его друзьями, а некоторые, вероятно, и духовными детьми. Широко открыты всегда двери его дома, многим он помогает – и материально, и духовно. Известно, что перед смертью Дурылин встречался для исповеди с отцом Стефаном (Никитиным, позже епископом), близким еще по храму в Клённиках. Умер писатель 14 декабря 1954 года.

В сборнике «Тихие яблони» представлена одна из граней многообразного творчества писателя.

Семейную повесть «Сударь кот» Нестеров считал лучшим творением Сергея Николаевича. В статье тех лет Дурылин сетовал: «До чего же мало храма в русской литературе!.. Как будто ни его, ни того, что около него и от него, никогда и не было в России... Так у всех, кроме Достоевского и Лескова». Восполнить этот пробел и призваны эти повесть и рассказы. Расположены они в книге в обратном хронологическом порядке – от более поздних к ранним, начиная с самых углубленных в жизнь Церкви. На первый взгляд они покажутся несколько стилизованными – «что-то знакомое, где-то встречалось». Таков любимый прием Серебряного века, стиля модерн: многое тогда извлекли из забвения и открыли, стилизации были уместны, любил этот прием и Дурылин – быть в тени великих. Но ведь в его дни отраженное в текстах хоть и уходило из жизни, но еще бытовало.

Замечателен язык Дурылина: сочный, красочный, «смакующий» слова и оттенки, читать его – удовольствие, роскошь. Он гордился тем, что москвич, наслаждался московским говором.

В большинстве произведений есть дорогие автору воспоминания. В повести «Сударь кот» сюжет – нередкий для XIX века жизненный узел, как у Тургенева. Глубокие сцены духовной и душевной жизни: истовый православный быт купечества, монастырь, духовное искушение почтенной монахини «суею всего», чтение Псалтири у гроба любимого, «оптинская» любовь

к людям и миру Божьему в старости. Из биографического: «мир шелка» и художественный вкус хозяина и его воспитанника, икона Спаса, перед которой хозяин подводит итог дня, – взято из ранних воспоминаний об отце и его «художестве». Еще и задание – показать в должном свете купеческий мир с его Третьяковыми и Мамонтовыми, вопреки одному лишь «темному царству» Островского.

Рассказ «Сладость ангелов» напоминает поначалу одновременно Лескова и Достоевского: церковный быт и трагедия безверия. Но за этим – пронзительный личный опыт – потери веры и с нею смысла жизни. Опыт убивающей веру казенной схоластики на уроке Закона Божьего в гимназии – ее не смог «оживить» даже умный и искренний батюшка, с которым автор дружил потом долгие годы. Тихий плач от стыда перед матерью за свое безбожие и от жалости к ней – уткнувшись лицом в стенку, но не выпуская из рук безбожной книги. И ее молитва за дверь: «Помоги, прости, вразуми...» И ни слова упрека – ни сыну, ни его друзьям-атеистам. Фундамент веры, на всю жизнь заложенный няней в родном доме, – это спасительный и дорогой опыт связи с народной, немудрствующей верой, далекой от умствований и гордыни людей ученых.

Рассказы «Бабушкин день» и «Троицын день» окунают нас в дворянский мир и в мир странничества. Усадьбы в то время еще были рядом, жили своей веками устроенной жизнью, а со странниками Сергею Николаевичу не раз доводилось беседовать в Оптиной пустыни и Москве. Но тот уклад, те явления старинного русского быта уже ощущались писателем как уходящие, отсюда и грусть, которой пронизаны рассказы.

«Сказание о граде Китеже» – стилизация притчевая, древнерусская, вроде рисунков Билибина. Дурылин мог слышать подобный сказ, былинку во время своих путешествий по Северу, в обычной северной избе, где они сочинялись и пелись. Таковы «подкладки» его рассказов, а «лицо» их нам напоминает о Шмелеве (эмигрантском), о Лескове и Серебряном веке...

Писать о С. Н. Дурылине, представить его вам – для меня радость. В детстве бабушка нам рассказывала о московском старце Алексее Мечёве, о его храме Николы в Клённых в начале улицы Маросейки. Отец Сергей Дурылин занимался там с детьми, эти занятия посещала мама с младшими сестрами. Часто он заходил после службы отдохнуть к нам в дом в Архангельском переулке, рядом с Меншиковой башней. Бабушка вспоминала, как провожали его в ссылку, собирали посылки, писали ему письма. После ссылки он учил литературе маму и нескольких девочек в домашней школе (где не было глумления над верой, которое уже начиналось в советской школе). Ставили спектакли по Крылову. У Сергея Николаевича было ценное для педагога качество – он умел дружить со своими воспитанниками, а они любили и всегда помнили учителя.

Как-то в девятом классе мама свозила нас с братом и сестрой к нему в Болшево. Иногда в те две зимы, его последние, меня брали в Дом ученых на вечера, организованные Сергеем Николаевичем по случаю памятных дат, с его докладом и небольшим концертом. На одном из таких концертов я слышал, как Дмитрий Журавлев читал «Осень» из «Евгения Онегина». Исполнение произвело на меня сильное впечатление, я выучил отрывок и читал его, подражая артисту.

Помню рано утром звонок из Болшево о его кончине.

Вспоминая Сергея Николаевича, видя, что издаются его книги и в наши дни, я неизменно испытываю радость – за него, за непропавшие труды его и за нас, потому что читать дурылинскую прозу, наслаждаться дурылинским языком – дорогой подарок. Кусочек творчества писателя и священника отца Сергея Дурылина доходит теперь с этой книгой до вас. Кусочек светлый, добрый, немало в нем тишины и покоя душевного – того, что сам он так искал и ценил. Желаю и вам радости от этого дара, что дает нам Начальник Тишины.

*Георгий Ефимов*

# **Сударь кот Семейная повесть**

*Михаилу Васильевичу Нестерову*

## Часть I

### 1

К бабушке, к матери Ирине, в монастырь мать ездила несколько раз в году на повиданье и на прошение ее иноческих молитв всему нашему купеческому дому, но нас, детей, к ней брали не всегда, а непременно на Ивана Постного, двадцать девятого августа, на храмовый монастырский праздник. К этому дню готовились и мать, и мы. Мать вынимала из комода замшевую книжку с белым генералом на скале, вышитым шелками, и сверялась, что наказывала ей привезти к празднику мать Иринея.

Купленное она вычеркивала, а некупленное подчеркивала двумя чертами и ездила по лавкам все сама, чтобы все купленное шло в монастырь из собственных, из родных рук, с добротством, а не из чужих, из наемных: «Из своей руки и то же яблочко – да наливней, и тот же мед – да сахарней». Покупки все складывались в диванной, что была возле спальни, но в эти дни, перед Иваном Постным, «диванной» не бывало. «Куда нести?» – спросит няню артельщик с кульком. «В матушкину комнату!» – и все понимали уж, что нести в диванную. Мать входила в «матушкину комнату» и, оглядывая зорко кульки, коробки и «штуки», справлялась с «белым генералом», все ли припасено к завтрашнему. Мы, брат и я, присутствовали при этом. Иногда мать обращалась ко мне:

– Сережа, не помнишь, – у тебя память помоложе, – в прошлый раз, как были мы у тетушки, отвозила я репсу на воздухе? Что-то я запомнила.

Репс – это шелковая материя, рубчиками, я его знал: у меня продавался он в игрушечной лавке. Мой репс был лоскуток от того, что отвезли в монастырь, и я твердо отвечал:

– Отвозили, – и ждал, что еще спросят, а брат, щуря глаза и заводя свои крупные карие кругляшки в сторону, что строго запрещалось, прибавлял:

– Еще кот бабушкин когтем тогда в шелку увяз! Мать улыбалась на его слова, не отрываясь от книжки, но, заметив, куда ушли его карие кругляшки: «Вишенки! Вишенки! Вася, дай съем твои вишенки!» – строго сдерживала его:

– Пойдешь в угол, если будешь глаза заводить! И не возьму к бабушке. Не смей!

В угол – было не страшно, не очень страшно, только бы не в зале, где пусто и в углах – зелень, сѣрень и нечисть, – но «не возьму к бабушке» – это было так страшно, что брат сразу останавливал зрачки посередине, будто они застыли у него, и около «вишенок» делалось что-то мокро.

Но мама опять смотрела в книжку:

– Что не припомню, то не припомню: сколько тетушка просила шафрану – фунт ли, два ли?

Шафран не продавался в моей лавке; я равнодушно молчал и подбрасывал, подхватывая в горсть, толстое и крепкое, как маленький арбуз, яблоко, которое мне подарили в фруктовой лавке.

– Переели сегодня яблок, – замечала мать. – Это не игрушка. Или убери на послезавтра, или съешь сегодня. А завтра нельзя есть.

– А почему? – спрашивал брат.

Я знал, почему нельзя, но молчал, потому что мне хотелось еще раз услышать все. От этого рассказа всегда возникала жалость на сердце, а жалеть так сладко, и так грустно замирает тогда сердце. Я уже знал эту сладость и грусть, хотя и не знал, что это называется сладостью и грустью.

– Завтра у бабушки спроси.

– Нет, мама, скажите.

– Бабушка лучше скажет. Я еще фрукты не проверила.

Но брат уж охватывал ее лицо руками, и она сажала его на колени, а я садился у ее ног, на синий коверчик, и она рассказывала. Я не все помню из ее рассказа, но то, что помню, помню точно и ясно, как шахматные клеточки синего с желтым коверчика, на которые смотрел, когда слушал ее рассказ.

– ...Ударили в бубны, пришли плясавицы, пляшут, а царь скучен. «Пляшите веселей!»

Отвечают плясавицы: «Не можем плясать веселей. Пусть заиграют во свирели». Заиграли во свирели...

– Как пастух? – прерывает брат.

– Нет, не как пастух, а по-другому. Заиграли во свирели. Плясавицы пляшут, а царю скучно. «Пляшите веселей». – «Не можем плясать веселей: забейте в барабаны!»

– Как солдаты? – опять спрашивает брат.

– Нет, не так. Молчи; слушай. Забили в барабаны. Пошли плясавицы в пляску. А царь скучный. Почему царь скучный? «Плясавицы, пляшите веселей!» – «Не можем плясать веселей. Не знаем, подо что плясать».

– Под трубу! – отвечает брат.

– Тебя не спросили. Был пир не весел. Встает тут девица, Иродиадиной дочь, говорит: «Буду я плясавицей. Развеселю царя». И стала девица плясавицей.

На этом прерывается моя память. Оживает на другом:

– ...И приходят к царю и говорят: «Не гневайся, царь. Нет в твоей казне блюда, что бы вместило Предтечеву главу. Все малы». – «Ищите лучше», – отвечал царь. Искали слуги, не нашли блюда под Предтечеву главу. «Не нашли, царь, блюда: твои легки, не выдержат Предтечевой главы». Молчит царь в страхе. Встает плясавица, оком ярким на слуг посмотрела и говорит: «Найду я под ваши головы, под каждую, а под Иванову главу недалеко ходила – нашла. Вот вам мое блюдо, – и подает им блюдо золотое, что пред нею на столе для яств стояло. – Принесите мне на нем Иванову главу...»

Опять прерывает тут память мамин рассказ. А брат не прерывал его уже никакими вопросами. Он теснее прижимался к маме и хватался рукой за ее руку, и уже не отпускал ее, и жался к ее плечу.

– ...Ангелы Предтечеву главу в землю скрыли, пустыня ее травой зеленой прикрыла и украсила алыми цветами. В Предтечев день алые цветы не рвут: кто сорвет, тому цветок алой кровью капнет. В Предтечев день круглого не вкушают; как принесли плясавице честную главу, пир в конце пира был: пред всеми гостями на серебряных блюдах плоды круглые лежали из царских садов наливные, а перед плясавицей на пустом на золотом ее блюде честную главу положили. Царь в пущем страхе сидит; гости молчат; остановился пир при самом конце. Говорит плясавица: «Что ж вы, гости, сладчайших плодов из царских садов не вкушаете? Аль не сладки?» А глянула – на блюдах у гостей не круглые плоды, а мертвые главы...

Тут молчали мы все трое.

Мама спускала брата с колен, целовала в лоб его и меня и говорила:

– Ну, идите в детскую, и не надо вам в нынешний день и завтрашний ссориться. День этот – страсти Предтечевой. Страшный это день. У бабушки будьте тихи. Бабушку не беспокойте.

Мы шли в детскую, а мать оставалась в «матушкиной комнате» и проверяла покупки. Отец приезжал вечером из города и перед всенощной заходил в диванную вместе с матерью.

– Все в порядке? – спрашивал он.

– Кажется, что так, а не поручусь, что чего не забыла.

– Ну уж, матушка, вспомни. Иван Постный один в году бывает.

– Вспомнить-то вспомнила, да придется завтра, перед монастырем, в лавку заезжать.

«Лавка» – это был наш оптовый магазин в городе, а если говорили «лавки», «поехать в лавки», то это про чужие.

– А что?

– Да сегодня только вспомнила, – мать улыбалась широкою и долгою своею улыбкой: она была долгая, потому что, раз появившись на ее некрасивом, умном лице, долго оставалась на нем и делала его привлекательным и грустным. – Тетушка в прошлый раз наказывала мне, даже удивила меня: «Привези ты, – говорит, – мне, матушка Аночка, палевых лоскуточков шелковых всяких поболее, что к канарейке ближе». – «На что же, – спрашиваю, – вам, тетушка, канаречных?» – «Я палевый узор подбираю из шелков: чайную розу хочу шить по стальному фону на пелену к Феодоровской Владычице». Удивила она меня. В шестьдесят пять лет – палевую розу! Ведь на это надо глаза мышинные.

Отец увязывал какой-то развязавшийся кулечек и отвечал:

– Сколько она этими мышинными глазами слез-то молодых и старых пролила! Нет, не глаза, а корень у них, старозаветных, крепок, корень без пороку. Дубы и кедры были, а ныне – осинки да ельничек. Нет, не глаза. Кедры да кипарисы были.

Он пробежал глазами замшевую книжку.

– И все это, что у тебя, матушка, здесь писано, все, как в сказке, по тетушкиным усам потечет, а в рот не попадет.

– Сама знаю. Все раздаст, рассуёт Пашам и Дамашам. Ей-то самой что бы такое привезть?

Отец махал рукой, левым плечом подталкивая дверь из диванной:

– Я тридцать лет над этим голову, матушка, ломаю – да так и не придумал ничего. Разве коту на печенку оставит, так и от той тетушка кота отучила и на монастырский стол его перевела. Матушка, я есть хочу. Скоро ко всеобщей ударят, – доканчивал он уже за дверью.

Мать приказывала подавать обед.

## 2

На самого Ивана Постного мать и отец ходили к ранней обедне в свой приход, но молебна не стояли, отец, попив чаю с черными сухариками, посыпанными крупной солью, уезжал в город, а мать принималась за сборы к бабушке. С кульками, сверточками, баночками, ящичками отправляли раньше всех няню Агафью Тихоновну.

Мы с братом, одетые в русские рубашки из синего шелку с вязаными серебряными поясками бабушкиной работы, выбегали на двор усаживать няню в пролетку, в которую Андрей-кучер запрягал самую смирную лошадь – каурюю Хозяйку, и за кучера садился второй дворник Степан, молчаливый вдовый мужик, который в этот день и в кухню не заглядывал, чтобы не замарать новую кубовую рубаху, и на кухаркины требования принести в кухню то-другое отвечал неизменно:

– Сами принесите-с. Я сегодня под нянюшку.

Няня, с помощью Степана, горничных и нашею, усаживалась в старинную, «вторую» пролетку, в которой ни отец, ни мать уже не ездили, – и ее со всех сторон обкладывали поклажей для бабушки. Мать выходила на крыльцо и поминутно опрашивала няню:

– Тихоновна, дюшес не тряско поставили?

– Тихо будет-с, – отвечал Степан.

– Банки-то не перебить бы с грибками, с рыжиками, с дынным вареньем.

Но горничная Стеша уже совала няне старую шаль, и банки, поставленные в задок пролетки, окутывали шалью, чтобы не бились бок о бок. Няня заботливо все озирала, сидя в пролетке, и шептала Стеше:

– Слава Богу, дынь не беру, по нынешнему дню, а то дыни-то ведь бьоны бьонучие: живо перебьются.

– Довезете все, даст Бог, в целости.

А в это время брат тянул из корзинки веточку лилового винограда; няня его хлопала небольно по руке:

– У бабушки поешь. Запылится виноград.

А брат передразнивал ее:

– Запылится вино и град! – подбегал с другой стороны пролетки и запускал руку в пузатый кулек, но тотчас же выдергивал и тер о нянин фартук.

Няня ахала от ужаса:

– Гляди, что делаешь! Фартук замараешь! Что бабушка скажут? Ведь руку-то в семужьем жире обрыбил, бесстыдник... Стеша, вымой Васеньке.

Мама недовольно позвала с крыльца:

– Поди сюда, Василий. Няня, живет, этак до вечерни не соберется. Готово, что ли, там? Ничего не забыли? Поди, Сережа, сбегай в бабушкину комнату, посмотри: не забыли ли чего?

Я взбегал в дом, мигом оглядывал пустую комнату и еще с лестницы кричал:

– Все взяли!

– Ну, тогда несите! – не оборачиваясь на меня, приказывала мать.

Няня спокойно и неподвижно сидела в пролетке. Степан уже восседал на козлах, а брата мать держала за руку. Тогда из кухни показывалась «белая кухарка» Марья Петровна в черном шелковом повойнике, сопровождаемая Стешей, и на блюде, высоко перед собою, на широко расставленных ладонях медленно несла огромный пышный пирог; пирог был тщательно прикрыт и увязан салфетками, но и через салфетку от него развеивался по воздуху приятный пар.

Довезти пирог в полнейшей сохранности и красоте и было главной задачей няни, ради которой, главным образом, и снаряжалось ее особое посольство. Пирог пекли с начинкой о четырех концах, так что начинки сходились к середине пирога острыми углами: был угол самый постный, с одними мелко рублеными рыжиками, были углы средние: с мясистыми белыми грибами и рисом, был угол «солёный»: с осетровой вязигой. А посередине пирога из золотистого теста были выведены инициалы «М. И.» – «Мать Иринея».

Няня принимала пирог, опирала блюдо о колени и всю дорогу поддерживала его руками. Степан оглядывался с козел: хорошо ли уселась няня с пирогом, и делал два-три замечания, как лучше сесть и приладить руки к блюду: было делом его чести благополучно довести нянюшку и пирог. Стеша застегивала кожаный фартук у пролетки, мама еще раз оглядывала няню, Степана и пролетку и наконец громко говорила:

– Ну, с Богом! Час добрый! Тетеньке передавай, что мы следом будем, да келейницам скажи, что я говорила: чтоб все было в порядке. Архимандрит будет... Нас осудят, ежели что не так подадут.

Няня уж ничего не отвечала, не сводя глаз с пирога, а только кивала головой в ответ.

– Трогай, Степан!

Няня крестилась торопливо, боясь поднять руку от пирога. Пролетка с няней и с пирогом уезжала, и тотчас же начинались вторые сборы, наши с мамой.

Старший кучер, Андрей, ловко подал парадную пролетку к крыльцу, остановив ее у самой нижней ступеньки. Мама села с братом, придерживая его рукой, а я поместился на маленькой скамеечке перед ними. В верхе пролетки лежали штуки материй и продолговатые картонные коробки с галантереей и платками.

– В город! – приказала мама обернувшись Андрею. – В лавку.

Мать любила быструю езду. Она была взята из семьи, где все были лошадики и, по выражению отца, недолюбливавшего шурьев, порастратили отцовское состояние на «Сивку-бурку, вещую каурку». Андрей любил ездить с матерью: отец ему не давал показать на всем ходу нашу отличную пару в яблоках, сдерживая его кучерской пыл, а Андрей поварчивал на

отца потихоньку: «На лошадях как на клячах я ездить не согласен, – а выпивши, прибавлял: – Я на клячах – и то как на лошадях ездю. Меня барыня понимает».

Мы ехали быстро; мелькали дома, магазины, лавки с вывесками: «Мужественный парикмахер Козлов с дамским залом», и улыбался там длинный турок с закрученными усами; китайцы, сидя на цибиках с чаем, дружелюбно двигали и водили косами, толстый арбуз с фруктовой лавки сокрушенно раскачивался: «Я – круглый, я – круглый: меня нельзя есть». – «А нас можно!» – отвечали румянобокие груши с той же вывески. Мать крестилась на церкви и снимала с брата картузик, и он начинал креститься, когда церковь была от нас уже далеко.

Лавка была в гостином ряду. Мальчик в суконной серой куртке выбежал из лавки и высаживал первым брата, помогал сойти маме. Мама здоровалась с Анисимом Прохоровичем, седым заслуженным приказчиком в долгополом сюртуке, с холеными крупными руками. На шее у него висела золотая большая медаль на малиновой ленте: он по закрытии лавки тоже заезжал поздравить бабушку и был в полном параде. Он почтительно, но с достоинством здоровался с мамой, усаживал ее на стул возле прилавка, предварительно устелив стул листом белой бумаги, и, не спрашивая, что нужно из товара, вел разговор:

– День сегодня, сударыня Анна Павловна, торжественный и печальный-с: Усекновение честные главы пророка и Предтечи Господня Иоанна. – Он четко и по-церковнославянски, словно вязь выводил, выговаривал полное церковное название праздника, особенно ясно отчеканивая: «И-о-а-н-н-а». – Где у обедни изволили быть?

– У себя в приходе, – отвечала мать, оглядывая куски шелкового товара, лежавшие на полках: белые, голубые, розовые, синие, фиолетовые, оранжевые, черные, желтые края их нежно вырисовывались в тускловатом освещении лавки.

– Я так и предполагал-с. В монастыре преосвященный владыко Нафанаил служат.

– Я всегда в приходе обедню стою, а к тетушке на молебен.

– Потрафите в самый раз. Преосвященный в служении медлителен и служит истово и благолепно: в первом часу, не ранее, полагаю, обедня отойдет. Облачения крестовые: золотые кресты по лиловому бархату. Бархат в черни.

– Я что-то не упомяну его. Должно быть, не бывала на его служении. Давно он у нас?

– Менее года, как на покой присланы, в Вышатъев монастырь, что в десяти верстах от города. Постники, вина никакого; никогда не ужинают, но рыбу очень любят-с, красную-с. Были на Крайнем Севере, а прежде викарием в Привислинском крае-с. Магистр богословия.

Анисим Прохорович так же тщательно, как название праздника, выводил географические названия.

Он был одинок, жил со старушкой, двоюродной сестрой, и читал «Московские ведомости». На столе у него лежал крестный календарь и «Список архиереев». Он больше ведал продажей парчи. Покупщиков – церковных старост, архиерейских экономов, кафедральных протоиереев – он уводил в особую темную дощатую комнату с зелеными шелковыми занавесками, где всегда горела лампа, усаживал в кресло и говорил:

– У меня рост архиерейский. Наш духовный портной по моему росту многие облачения уже шил, на мне и примеривал, потому что на человеке пожилем это пристойнее, чем на бездушном манекене. Вы не сомневайтесь. Парча эта не тяжела, златовидна и умильных тонов. В западном крае были случаи обращения униатов после служения владыки Пахомия в кафедральном соборе в облачении из вышереченной парчи. Благолепие, извольте знать, много способствует возвышению религии. В «Московских ведомостях» была корреспонденция.

Солидные покупщики любили покупать у Анисима Прохоровича, и если парча покупалась для какого-нибудь городского прихода или монастыря, он всегда приходил на первое служение, при котором облачались в облачение из новой парчи, и по окончании службы, умиленный и растроганный, подходил к протоиерею или эконому, брал благословение и, почтительно улыбаясь, говорил:

– Ну, вот видите, ваше высокоблагословение, был ли я прав, когда смел предлагать вашему высокоблагословению подобную парчу?

– А что, – спрашивал протоиерей, – разве величественно было?

– Небеси подобное украшение, – отвечал Анисим Прохорович и, вновь взяв благословение, откланивался.

Он был любитель и художник парчового дела. Про парчу, осторожно и медленно разворачивая тяжелую, блестящую золотом, пышную ткань, он говаривал: «Это – для Бога. Царь царем»; про шелк говаривал: «Это – одеяние князей земных», – и раскидывал перед покупателем холеными руками своими кусок шелковой материи быстрее, небрежнее и вольнее, чем парчу; а шерстяные товары сам никогда не показывал – и шерстяные, и бумажные ткани определял: «Это – одеяние от наготы-с, не более того: наги, по грехам нашим, родимся и получаем бременное прикрытие. Не красоте, а наготе-с». А шелк и еще более парча – это была для него красота, ради которой он берег и свои руки, и с усмешкой говаривал про себя: «Я бело ручка-с: ни к чему не прикасаюсь».

Решив, что разговор с матерью достаточно веден так, что приличествовало началу, Анисим Прохорович осведомлялся:

– А чем, сударыня, можем служить? Время – деньги, говорят англичане, хоть мы в том, русские, им и не верим: у нас деньги особо, а время особо.

– Вот что надо, Анисим Прохорыч: задала мне тетушка задачу: подобрать ей шелковой материи, желтого цвету, все оттенки канареечного, палевого, лимонного. Какие только есть...

– Можем служить, – отвечал Анисим Прохорыч, – а количество-то, по всему вероятно, требуется немалое: по десяти аршин цвета, – и правая бровь, седая и чуть подстриженная, опустилась у него слегка над глазом.

Мать улыбнулась:

– Вы знаете тетушку. Пелену шьет к Федоровской. Надо по лоскутку каждого цвета.

– То-то я и говорю: количество немалое, наберем ли? – и Анисим Прохорович приподнял бровь и покачал головою.

Я засмеялся, забежав за прилавок. Он повернул ко мне голову и повторил:

– Наберем ли, молодой хозяин, а? Товару-то больно много требуется! – и тут же, другим голосом, приказал: – Иван Никифоров, достань-ка образцы. Есть там желтые.

Молодой приказчик кинулся искать, но, порывшись в картонах, принес только два-три отрывка образцов желтой шелковой материи со словами:

– Больше нету-с желтой.

Анисим Прохорович нахмурил брови.

– А у нас палевые были фай-франсе и саржа? И канареечные – фуляр?

– Где-с? Не знаю я, где искать. А в каком они месте? Анисим Прохорович встал со стула, повернулся к нам спиной, крикнул сердито с раздражением:

– Ты сыщи, а я укажу! – опять присел на стул около мамы и, покачав головой, молвил сокрушенно, как будто и не кричал только что: – Дивлюсь я, сударыня: мы, старые люди, на рубли помним, а у молодых людей – на полушку памяти не хватает! Отчего это?

Мать ничего не ответила, а протянула ему кусок желтого атласу:

– Вот такого бы цвету еще кусочек, Анисим Прохорович.

– Все это возможно, все это возможно, – отвечал он с тем же сокрушением в голосе.

Принесли еще отрезков, и мать отобрала из них целый подбор кусков желтого шелку всех оттенков. Я тоже выпросил для своей игрушечной лавки лоскут желтого атласу.

– Смею спросить, сударыня, – заговорил старший приказчик. – Мать Ириная какой узор шьют?

– Розан.

– Ну, тогда вам и зеленого канаусу надлежит взять – на шипы-с и на листья.

– Тетушка не просила.

– А мы их не послушаем да присовокупим. Убытку не будет. А молодой хозяин перечить не будет.

Он погладил меня по голове.

Мама хватилась брата.

– Сережа, сбегай посмотри, где Вася.

Я уже знал, где Вася: он был в подвале под лавкой, где стояли ящики, пустые и с товаром, валялись огромные круги с бечевкой, пачки картона, целые головы рогож. Мальчики и артельщики паковали товар.

Горела подвешенная под потолком лампа. Брат сидел на ящике и пил чай с обколотого блюдечка, в которое ему наливал из огромного, белого трактирного чайника краснощекий Филя, городской мальчик лет четырнадцати, живший, как и все мальчики, у нас в доме, в молодцовской. Здесь брат был общий любимец. Все его величали «Василий Николаевич».

Василий Николаевич, сидя на ящике, усталом белой бумагой, раздавал направо и налево заказы: нужно было, пользуясь кратким пребыванием в подвале, заготовить для дому, для военных и строительных нужд, новые запасы веревок, картона, олова от пломб и товара, бумаги, мочалок и других припасов для вооружения оловянных солдатиков, для постройки крепости и сооружения великолепных воздушных змеев с трещотками. Весь нужный материал был уже обозрен и отобран братом. Мальчик увязывал все это, а Филя, поя брата чаем, беседовал с ним. Брат говорил ему:

– У бабушки будет сегодня генерал, и я его увижу. Филя недоверчиво улыбался, а артельщик Иван Семеныч, пакуя ящик, возражал:

– У монахинь не бывают генералы, Василий Николаевич.

– Бывают, – отвечал брат, – но без оружия. Бабушка важная. Генерал поздравит – и уедет. Больше ничего.

– А я, Василий Николаевич, читал про белого генерала, – сообщает брату потихоньку Филя, – у нас тут книжка есть.

И вот уже в руках брата замусоленная, исчерканная, перечитанная от скуки по многу раз всеми «подвальными» книжка про Скобелева. Брат не умеет читать, но делает вид, что читает ее, листуя. Лицо у него серьезно.

– Под белым генералом бомбой лошадь убило, – с восторгом шепчет брату Филька.

– А он? – еще тише спрашивает брат, и лицо его становится еще серьезнее.

– Он уцелел, – отвечает Филька.

Брат облегченно вздыхает и молча, не спеша, листует книжку.

Я зову его наверх, к маме, но нам обоим не хочется уходить. Брат показывает мне сверток со своими припасами, и, чтобы мама не забрала, мы решаем положить его потихоньку в пролетку, послав Фильку на это опасное дело. Филька уходит и через две минуты возвращается и громко объявляет:

– Мамаша идет садиться!

Мы прощаемся и бежим по лестнице, а Филька на ходу сообщает брату на ухо:

– Готово дело.

Мать в дверях прощалась с Анисимом Прохоровичем и говорила нам торопливо:

– Садитесь, садитесь, дети. Мы опоздаем.

Андрей трогал, и через четверть часа мы были у Святых ворот монастыря.

3

Монастырь был на окраине города. Одноглавый древний собор был почти не виден за высокой стеной; только золотой крест с золотыми цепями, прикреплявшими его к синей главе, сиял в осеннем небе четко и празднично.

У Святых ворот мы выходили из пролетки, а Андрей въезжал внутрь монастыря с переулка, в черные ворота. У Святых врат, на столике, покрытом голубой пеленой, стояла праздничная икона – Глава Иоанна Предтечи на блюде, в медном окладе. Перед иконою горел пук свечей, оплывавших на ветру; их было так много, что пламя свечей сливалось в один густой, плотный, красный язык, который колебался в разные стороны. Возле иконы стояла чаша со святой водой и две монахини продавали и ставили свечи. Мама дала на свечку, мы приложились к иконе. Это было начало праздника. Мы с братом, сняв шапки, прошли в Святые ворота. К собору вела дорожка под кленами, которые все еще были густы, все в золотом и красном. На дорожке, лицом к собору, на коленях стоял мальчик и молился, беспрестанно кладя поклоны.

Увидав маму, он встал под кленом и молча улыбался. Мальчик оказался не мальчик, а худенький мужичок, весь в белом, босой, безбородый, с редкими белыми волосами.

– Молись, молись, Егорушка, – сказала мама, поклонившись ему. – Мы тебе не помеха.

Мужичок наклонял голову и взмахивал ею кверху, обхватывая ее руками, и сокрушенно качал ею. Потом, не говоря ни слова, позади нас стал опять на колени и стал молиться на собор.

– Мама, что он? – спросил брат. – Ему больно?

– Не ему больно, – отвечала мама, – а он показывает, как Крестителю в сей день было больно. Он праведный человек.

С этими словами – «праведный человек» – мы вошли в собор; с этих пор я знаю это слово: оно в этот день, как свеча, зажглось в моей душе и горит неугасимо.

В соборе только что кончилась обедня и начался молебен Предтече перед древним его образом, где он изображен с крыльями – огромными золотыми крыльями, – худой и изможденный, с чашей в руке, а в ней – Младенец Христос. Мы стояли в толпе. Было душно и жарко. Стены, покрытые древними фресками, были мокры. Свечи в паникадилах горели тускло и тревожно, и иногда тяжелые восковые капли капали на молящихся. Когда молебен кончился, к нам подошла монахиня, поклонилась маме, подняла брата на руки и понесла прикладываться к иконе. После прикладывания к образу она надела на голову брата тонкий серебряный обруч:

– Проси, милый, Предтечу: не будет головка болеть.

Начался новый молебен.

Когда мы отошли от иконы, мама обдернула на нас костюмчики и повела к окну. Там стояла монахиня в длинной мантии, застилавшей своим низом широкий черный круг на полу. Все монахини, кто проходил мимо нее, низко кланялись, а она еще ниже кланялась им в ответ, и когда мы подошли к ней – мы с братом вперед, мама позади, – монахиня обернулась, и маленькое, все в морщинках личико глянуло на нас с такою улыбкою, с таким приветом, что мы в два голоса воскликнули:

– Бабушка!

Мама поцеловала у нее руку и нам приказала сделать то же. А она наклонилась и сказала тихо-тихо, еле слышно:

– С праздником, Аночка. Иди с детками ко мне, а я у матери игуменьи не замешкаюсь и скоро буду домой.

Бабушкина келья была в глубине монастырского двора: серый домик в три окошка с зеленой кровлей, над которой торчал шест со скворечником; перед домиком был маленький палисадник, в котором доцветали малиновые мохнатые астры и крупные оранжевые настурции. На крыльчке нас встретила Параскевушка, бабушкина келейница.

В домике бабушки было всего три комнатки с прихожей и кухонькой. В прихожей увидели мы няню Агафью Тихоновну. Она принялась нас раздевать, а мама ее спросила про пирог.

– Довезла. На столе-с, – с гордостью отвечала няня.

– Удался, матушка Анна Павловна, удался, – подхватила Параскевушка. – Пышен – будто пухом набит.

– Ну, слава Богу! – сказала мама и вышла в светлицу.

Скворец заворохился в зеленой клетке и стал покрикивать дружелюбно и зазывно.

– Ну, с праздником, с праздником, Мишка! – улыбнулась мама. – Дам сухарика тебе, как чай будем пить. Не забудь, Сережа, дать ему.

Скворец был стар, и шубка у него была линюча.

Нас посадили на высокие бабушкины стулья у окон. Ноги у нас не доставали до полу. Нужно было тихо и чинно сидеть до прихода бабушки. Комнатка была мала, низка, тесна, но я не видывал никогда комнаты более белой. Все было в ней белое: подоконники казались белого мрамора по чистоте; потолок и стены были выбелены чисто-начисто: по стенам – будто снег прошел липкий и новый; пол был некрашенный, но вымытый до такой чистоты, что хотелось поджать ноги и сидеть неподвижно, чтобы только не дотронуться до него и не загрязнить. На окнах висели полотняные занавески, вышитые гладью фестонами. В красном углу на полке, устланной узорным полотенцем, была огромная древняя икона в шитой жемчугами ризе – Нерукотворный Образ. Перед нею висела хрустальная лампада на цепи из граненых хрусталиков.

Посреди тесной светлицы стол с белоснежной камчатой скатертью был уставлен постными закусками, окружавшими привезенный няней пирог.

Брат шепнул мне:

– А где кот?

– Не знаю, – тихо отвечал я.

– Он обедает, – предположил брат, – мышинной ветчинкой.

– Такой не бывает, – отвечал я.

– Бывает и крысиная, – сказал брат.

– Молчите, – окликнула нас мать, смотря в окно. – Бабушка идет. Что надо сделать, когда она войдет?

– Поздравить с праздником, – отвечал я.

– И ручку поцеловать.

– Спрошу про кота, – шепнул мне брат.

Я посмотрел в окно: бабушка шла от собора с двумя молодыми монашками, поддерживающими ее под руки. Широкая ее мантия застилала дорожку во всю ширину. Через минуту бабушка вошла в домик. Маменька сняла с нее мантию – и она вошла в светличку маленькой сгорбленной старушкой, подошла к образу и помолилась. Мать поставила нас сзади нее, и, когда бабушка обернулась к нам, мы оба в голос сказали:

– Бабинька, поздравляем вас с праздником! – и поклонились, шаркнув ножками.

– И вас также, миленькие мои, соколики, – отвечала бабушка, улыбаясь.

Она была такая маленькая, сухонькая, с детскими ручками, разрисованными голубыми черточками жилок, с впавшими ямочками у височков, перечерченными толстыми синими жилками, с желтыми, слегка будто порозовевшими щечками, такая хрупкая, такая легкая, такая тоненькая, что брат вздохнул и, ластясь к ней, простоудушно и громко – у него был детский веселый бас – сказал:

– Ах, бабушка, какая ты маленькая!

– К земле, детка, расту, к земельке: маленьким меньше местечка надобно и лежать теплее.

Но брат упрямо допытывался:

– Ты, бабушка, в церкви больше была...

– Нет, милый, это тебе так показалось: в церкви-то я самая маленькая из всех бываю. Так Господь велит.

И она обернулась к Параскевушке, стоявшей у нее за спиной:

– Ну, Параскевушка, матушка, самоварчик бы нам. Бабушка усадила нас за стол с мамой и потчевала чаем из синих чашек с золотыми доньшками. Брат подставлял ей чашку и просил:

– С твоим молочком, бабушка, налей, с красным.

– С моим, милый, с моим, – и она вливала ему в чай густого вишневого морсу и, улыбаясь тихой улыбкою, – а слезящиеся глаза ее были в паутинках из морщинок, – спрашивала: – У вас, верно, нет такого молочка, как у бабушки?

– Нету, – серьезно отвечал брат. – Откуда оно у тебя, бабушка?

– От вишневой коровки.

Морщинки расходились сеточкой от глаз – и бабушка улыбалась и гладила маленькой ручкой по голове Васю и меня. Брат большими своими карими глазами смотрел на бабушку, а потом переводил на маму.

– Кушай, кушай, – говорила мама, – и благодари бабушку.

Потом бабушка потчевала всякими постными закусками: их было множество, но всего понемногу, на фарфоровых блюдечках: грибки, огурчики, оладушки, моченые яблоки.

– Отчего, бабушка, у тебя такие маленькие огурчики? – спрашивает брат.

– Оттого, батюшка, что я и сама маленькая: мне больших-то и не поесть.

– А у нас – большие.

– Да ведь и ты, батюшка, большой.

И опять погладила по голове.

Кукушка на часах прокуковала один раз – и скворец в клетке уморительно передразнивал ее. Мы с братом весело смеялись, а мать забеспокоилась.

– Тетушка, надо бы, я чаю, стол приготовить для гостей.

– Будет вам: небось, уж сыты, – остановила она нас, видя, что брат просит оладушка, а я просил перцовых огурчиков.

Но бабушка вступилась за нас:

– И, матушка Аночка, оставь их: пусть кушают. Дело молодое: ешь, покамест естся, пей, покамест пьется. Придет время, сами перестанут. Я посижу с ними.

– Не обременили бы они вас, тетушка, – сказала мать, вставая и молясь на образ, – покорно благодарю. Я велю фрукты принести.

Она вернулась с няней, несшей корзину с грушами; они принялись обтирать фрукты и укладывать их в плетеную корзинку. Мать вытащила оттуда яблоко и изумленно проговорила:

– Яблоко-то откуда же?

Яблоко было большое, краснощекое, круглое, из сорта «добрый крестьянин».

– Вот искушение-то! – ахнула в дверях келейница Параскевушка. – Во всем доме у нас круглого сегодня нет. Грех какой!

Брат густо покраснел и принялся усиленно, со звоном, размешивать ложечкой сахар в чашке. Мать строго на него посмотрела.

– Василий, твои штуки! Не звони: не звонарь!

Брат оставил ложечку, и в глазах у него навернулись слезы. Но бабушка сказала:

– Что ты на него, матушка? Это он на завтра меня, старуху, яблочком захотел побаловать. Ишь, яблочек-то какой румяный, будто Васенька. Дай-ка мне его сюда, Прасковьюшка: я его к себе в комод уберу.

Она приняла яблоко от Прасковьи и унесла в свою келейку.

– Ну, дети, идите с няней, – сказала мать. – Вон к бабушке гости идут.

Няня отвела нас в келейницкую. Это была маленькая комнатка в два окна, упирившись в монастырскую стену. Угол возле окон был уставлен весь иконами в киотцах, в золотых

рамочках, в фольговых украшениях; вербы, с умильными херувимами из воску, были заткнуты за иконами. Горели три лампадки – синяя, зеленая, розовая; к ним подвешены были волшебные яйца в серебряных блестках. На иконах были блеклые венчики из бумажных цветов. К простенкам были стоймя прислонены пяльцы с вшитыми в них одеялами для стеганья и простыней для строчки. Пяльцы были обернуты в простыни, прикрепленные булавками. Посреди комнаты стоял стол, за которым сидели две монашки в апостольниках, старичок монах в полинялой рясе, с редкими седыми волосами, рядом с ним – высокий чернобровый мужчина в поддевке из синего сукна. Параскевушка разливала чай, стоя у большого самовара, поставленного подле стола, на табуретке, а другая келейница, молоденькая Марьюшка, подавала чай гостям и обносила их едой с печеньем, вареньем, соленьем, установленной на подносе с рыцарским замком и дамою. Гости потеснились и дали место няне с нами. Помолчали.

– Приехали поздравить бабушку с праздником? – осведомилась у меня старшая монахиня, с тремя длинными волосками на подбородке, росшими из родимого пятна.

Я потупился.

– Отвечай же матушке, – шепнула мне няня.

– Да, – сказал я. – Мы бабушку любим.

– И подобает, – отозвался седой монах, – и подобает не только любить, но и почитать...

И почитать, и почитать! – повторял он, точно обрадовавшись, что попал на это слово. – И почитать! Мед у вас, мать Параскева, – прервал он сам себя, – дивный: благоухает.

– Кушайте на здоровье!

– В этом году меду благоухание, – ответила монахиня с волосиками. – Травы цвели превосходно. Мать игумения посылала меня на хутор, на покос. Открою я, бывало, окно, как к утрени вставать, а из окна, от трав, благоухание, будто ладаном росным окажено.

– А я возвращаюсь к слову своему: и почитать! Мать Иринея – дивная старица.

– Мало ныне уж таких, мало, – откликнулась вторая монахиня, худая, серая старушка, в медных очках.

– Воистину – молитвеница! – сказала няня. – Васенька наш, – она погладила брата по спине, – родился болезненный. Почти ничего не ел. Плачет, бывало, плачет, а доктор рукой машет: ничего, мол, не могу, и, наконец, сказал: вы, дескать, денег мне не давайте: я ездить езжу, но в пользу не верую, а для своего, докторского, любопытства: как конец обернется. И порешили мы с барыней под образа Васеньку положить: не мучить боле, а на волю Божию. Доктор это увидел, махнул рукой и больше не приезжал. Только мы его проводили, а матушка Иринея к нам.

– Никуда не ездит, а тут приехала, – отрезала значительно Параскевушка.

– Приехала – и прямо к Васеньке идет. Мы за нею. «Нет, – говорит, – я одна побуду. Вы устали небось».

– Ну, это неспроста. Не «устали», а неспроста, – сказала монахиня в очках.

– Простое ли дело? – сказала няня. – Мы за дверь отошли. А она подле него на колени стала и так-то молилась, так молилась. Мы видим, а она нас нет...

– Ну, это кто знает? – сказала Параскева. – Видит, нет ли.

– А потом встала, нас позвала, кажет нам личико Васинькино. «Видите, – говорит, – к здоровью этот сон у него». А у него носик худой, будто у птенчика. «Боюсь, матушка, умрет», – барыня это говорит. «Ах, мать, мать, – отвечает, – плохо ты смотришь, говорю тебе: видишь, улыбка у него во сне, к здоровью это. Жестко ему здесь лежать, перенесите-ка в детскую, в кроватку. Ишь, он ручку откинул». – «А мы было, тетушка, нарочно его под Богом положили здесь...» – «А я что же говорю: мать, мать, плохо слушаешь, и я говорю: отнеси в кроватку, под Богом – Бог несть Бог мертвых, но Бог живых...» И будто все по-нашему она говорит, а все не наше выходит, не как у нас... Собралась тетушка уезжать и говорит: «Привозите, – говорит, –

его через неделю в монастырь причащать, к Ивану Предтече». Хорошо. А мы думаем: как повезем? Не пришлось бы в монастырь на кладбище нести...

– Неверие ваше, – сказал монах.

– И что ж, действительно, целый день Васенька спал, а проснулся – кушать попросил. И пошло, и пошло: по фунту, по два в день здоровье вливалось. И причастили мы его в воскресенье, в монастыре, – и вот он у нас молодец какой! Чтобы не сглазить.

Няня поцеловала Васю. Помолчали.

– Старица! – сказал монах.

В это время за дверью мягкой скороговоркой произнес кто-то:

– Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!

– Аминь, – отвечала Параскевушка.

И вошел тот белый мужичок, который клал поклоны подле собора, на кленовой дорожке.

– Егорушка, здравствуй, – сказала Марьюшка.

Все ему обрадовались. Монах стал тесниться – и вытеснил ему местечко возле себя. Но Егорушка не сел, а только рукой дотронулся до места, а сам весело заговорил, потряхивая волосами:

– Я с ним, я с ним! – и указывал на брата.

Брат не сразу привыкал к чужим людям и молчал при них долго, и няня опасливо посмотрела было на Егорушку. Но брат, сидевший с краю, ближе всех из нас к Егорушке, стал тесниться к ней, и около него очистилось местечко. Егорушка и занял его не все. Он полез в карман и, вытянув оттуда кусочек воска, подал брату:

– На-ко птичку, на-ко птичку, малец, – вот поет, вот поет!

– Замечайте, – шепнула няне Параскева, – он неспроста.

А брат, взяв «птичку», взял со своей тарелки пряник, облитый сахаром, и подал Егорушке:

– А я тебе пряник!

Монах рассмеялся тут – добрым, старым смехом, удивленным каким-то, – и развел руками:

– Ну, что за дитя! Прямо сердце! Простое сердце! На тебе, говорит, пряничек! Это блаженному-то, блаженному...

А Егорушка встряхнул волосами и сказал:

– Блажен, блажен, а Господь Преображен.

– Сегодня не Преображенье, Егорушка, а Усекновенье, – сказала монахиня с волосиками.

– И усекновен, и блажен! – мотнул головой два раза.

– Это он про Предтечу, – шепнула монахиня.

А Егорушка опять полез в карман и, достав оттуда медную пуговку, протянул ее мне. Я взял и, смутившись, встал, не выходя из-за стола, и низко поклонился ему:

– Благодарю вас.

Сказал я это так, как учили нас говорить старшим.

Монах опять развеселился.

– Господь посреди нас...

Егорушке налили чаю, и он пил его, откусывая маленькие кусочки сахара и макая их в чай.

– Хорошо ли молился сегодня, Егорушка? – спросила монахиня с волосиками.

И впервые тут заговорил мужик в армяке, все время молчавший. Он покачал головой и сказал:

– Господь знает, хорошо ли, плохо ли. Не вопрошай.

И замолчал опять.

Мать Параскева, словно вспомнив о нем, обратилась к мужику:

– Чем еще попотчевать вас, Демьян Иванович? Ничего не кушаете.

Он отвечал:

– Бог напитал, никто не видал, а кто и видел, тот не обидел... Матушку увижу ль?

– Увидите, увидите! Скажу матушке.

Параскевушка ушла к бабушке, а мужик, выйдя из-за стола, три раза перекрестился на образа и поклонился нам всем со словами:

– За чай, за сахар, за беседу.

Мы с братом оба взглянули на него, и брат заблестел глазами и, изогнувшись из-за няинной спины, шепнул мне:

– Дядя Сарай!

В самом деле, мужик был огромного роста – такого огромного, что он, видно, привык сгибаться и уже не разгибался, должно быть, и в высоких комнатах. Правая рука у него была желта, как шафран, а левая – белая, в черной бороде были правильные белые полосы, как снегом напушенные, от губ до конца бороды, и брови седоваты, а волосы на голове, в скобку, совершенно черные, а глаза – большие, темно-серые, с синеватыми, крупными белками.

Нам с братом он не понравился, и мы глядели на него исподтишка, а на Егорушку улыбались: он, чмокая, как ребенок, ел сухарик, на кончик которого положил крошечный кусочек сахара, и мы следили, слетит кусочек с сухарика или нет. А мужик в поддевке снял со стены чистый холщовый мешок и вынул оттуда что-то – нам показалось, книгу, – завернутое в чистый кусок полотна, и держал в руках, прижав к груди.

В это время вошла бабушка. Тут все выскочили из-за стола, и все ей враз поклонились, и обе монахини тронулись было к бабушке, а Егорушка кивал ей беспрестанно головой, но мужик всех отстранил, раскрыл на груди тряпицу и, показывая на писанный красками образ, удерживаемый на груди, сказал:

– Благое Молчание тебе принес, старица честная. Принимай с любовью.

Бабушка метнула земной поклон и приложилась к образу, приняла его из рук мужика и высоко приподняла над головою, всем указуя на него:

– Сколь прекрасен Ангел Тишайший! Смотрите, милые!

Брата приподняла няня, и мы с ним смотрели на образ и радовались.

Я после узнал, что это был за образ: это было изображение Спаса Благое Молчание: Ангел с светлым ликом, в белых одеждах и с белыми крыльями, а руки в великом мире покоятся крестообразно на груди. Молятся этому образу об умирении сердец, о тишине душ смятенных, о покое божественном, о молчании горнем. А тогда мы с братом видели не образ: будто сам Ангел прилетел в этот печально-торжественный день и обнял нас всех, старых и малых, мудрых и буйных, своим благим молчанием. И было это молчание сладко и нашим детским сердцам, и измученным в тревогах житейских сердцам старых и старших. Егорушка стал на колени и поник головой до земли.

Наконец бабушка опустила образ ниже и тихо сказала нам:

– Приложитесь, дети.

И когда мы приложились, она удержала нас около иконы и чуть слышно сказала:

– А знаете ли, милые, как на земле и мы, грешные, сладостно поем Тихому Ангелу, слышали ли: «Свете Тихий, святые славы!»

Она приподняла опять икону и благословила нас ею и сказала другим:

– Ну, приложитесь, приложитесь! Какой лик прекрасный!

Когда все приложились к образу, бабушка передала образ Параскевушке, стоявшей возле нее, и поклонилась мужику.

– Спаси тебя Господи, Демьян Иванович. Обрадовал ты меня, грешную. Дивен лик и тихостен! Благослови тебя Господи. Долго ли писал?

– На Третий Спас начал, матушка, – отвечал Демьян Иванович, и лицо его посветлело, – отслужил молебен Нерукотворному образу и водою святой доску окропил, и писалось с легкостью, по новгородскому переводу. По твоим молитвам легкота была в письме. Не запомню, чтобы так было.

– Господь дал! Все ли у тебя в здоровье добром?

– Спаси тебя Бог, матушка, все здоровы. Сыты, обуты, одеты. Работа есть. В Прохушево в часовню деисус заказали и Ивана Воина в полк. А ты мне, матушка, работу задай, без того не уйду: твоим заказом моя работа спорится.

– Закажу, закажу, – бабушка улыбнулась. – Я ровно как помещица немилостивая, на всех работу накладываю.

– Какая ты помещица, матушка! – с досадою даже проговорил мужик. – Ты молитвенница. Легкая у тебя рука.

– Рука-то легка, да сама белоручка: без работы сижу, – быстренько проговорила бабушка, и, поглядев на нас, обратилась к мужику: – Внуков-то моих узнал ли, Иваныч?

– Добрые детки, – отвечал тот.

– Ну, вот тебе и заказ: напиши ты малые две иконы – Сергия-чудотворца да Василия Блаженного на охре, на кипарисе. Благословить их хочу. Это их ангелы.

– Благослови, матушка.

Бабушка перекрестила его и он стал собирать свой мешок, а бабушка совала ему в руки пряников, конфект и еще чего-то, что он не брал и отстранял от себя, заваливая на себя мешок, но она строгоноcko посмотрела на него и молвила:

– А вот и неслух выходишь; борода, а неслух! – и он покорно принял из ее руки и пряники, и конфекты, и груши, и еще что-то, чего больше всего не хотел принять. Она перекрестила его, он поцеловал у нее руку и ушел, пригибаясь еще ниже.

А Егорушка уже охаживал вокруг бабушки, и улыбался на нее, и протягивал к ней горсточку, приговаривая:

– И мне дай! Дай, дай, маминька!

– Чего ж дать-то? – спрашивала бабушка.

– Сама знаешь, чего! Белая знайка, а не знаешь, у Высокого спроси, с крыльями...

– Про Предтечу он это! – шепнула няне монахиня с волосиками.

– Ну, помолчи, Егорушка, помолчи. Видел, видел: Ангел-то тихой, Ангел-то молчаливый... Он молчать велит.

Егорушка сел на пол и пригорюнился.

– Матинька, да-ай! – вдруг жалобно протянул он. И бабушка, ничего не говоря, вынула из кармана резной деревянный крестик и благословила им Егорушку, который быстро стал на колени, поцеловал крест и молча спрятал его, а сам подал бабушке маленькое китайское яблочко.

– Да сегодня нельзя, Егорушка, что ты! – замахала на него Параскевушка, а он сердито мотнул на нее головой и затынул:

– О-о-о-о-о...

– Это он говорит, что отнял у кого-то, – догадалась бабушка. – Отнял, что ли?

Егорушка вскочил и радостно затрясся, а монашки-гости проговорили, робея:

– Матушка, это он что сделал: у торговков на базаре все яблоки и арбузы по земле покатали: не дает никому, катит, да и все, матушка, в пыль, в пыль, в мусор... Воют торговки-то.

Егорушка радостно улыбался и головой кивал.

– Опять ты, Егорушка, шумишь, – сказала бабушка. – Ты не шуми. В мире и без твоего шума шумно. Тихому Ангелу молись.

Егорушка покорно обернулся к образам и стал истово креститься.

– Сереженька, дай ему грушку, – приказала мне бабушка, и я, робея, подал ее юродивому.

Он положил ее перед собою на стол и оглядывал ее со всех сторон, ворочая головою, и гладил рукою по ее розовому пушку.

Мы с Васей не боялись и угощали его, наливали ему на блюдечко чай, а бабушка, смотря на нас троих, слушала, – все стоя, – что ей говорил седой монах. Он жаловался на что-то, чего я не понял, и лицо у бабушки стало другое: разорвалась сеточка морщинок под глазами, лицо будто помолодело, но и построжало. Монашки отодвинулись к пъяльцам, а няня вышла. Только Параскевушка по-прежнему стояла подле бабушки – горбатенькая, с головой немного на левый бок, – с нетерпением смотря на монаха.

Вдруг бабушка властно остановила монаха, рукой коснувшись его плеча.

– Помолчи, отец Евстигней. Все поняла. Не надо больше. Его Бог будет судить, – бабушка резко подчеркнула голосом это «его», будто хотела показать, что понимает, как много значит это слово для монаха, – а ты суд в своем сердце зачеркни – все Богу передай: там лучше нашего с тобой разберут.

– Матушка, – прервал бабушку монах, седые косички у него на затылке жалко зашевелились, – матушка, передал бы, все передал бы, да тяжело мне. Слякохся до конца.

– Не говорю, что легко, – сказала бабушка, – мы с тобою монашествуем, а не легкотуем. В миру легко – да легко и в трудность геенскую навеки впасть. На труд шел, когда рясу надевал.

– Матушка, – опять прервал ее монах, и слезы были у него на покрасневших глазах, – послушаюсь, по-твоему сделаю, потерплю, а ты помолись... Не мирно мне.

– Помолюсь, – отвечала бабушка, – а ты отдохни у нас сегодня. К вечерне сходи. Параскевушка, покорми его. А *его*, – опять обратилась она к монаху, опять выделяя слово, – *его* Господь сердцем переменит. К тебе же придет.

– Ну, спаси тебя Господи! – сказал монах, отираясь рукавом и виновато посмотрев на всех, стоя посреди кельи.

– Сядь-ка за стол, отец Евстигней, послушание исполни, – сказала ворчливо Прасковья, – матушка гостить тебе приказала, а ты под ногами вертишься.

– Да, да, погости у Спасова Крестителя: Он у нас хозяин, – поддержала ее бабушка, – вон внукам моим что-нибудь душеполезное расскажи: как ты зверя тихого в пустыне видел. Ты где ведь не бываешь! Не нам чета, кочкам, недвигам лесным.

Монах, усевшись за столом, заулыбался, а мы стали смотреть на него и ждать. Но он молчал, а бабушка обратилась к монахиням:

– Матери мои, матери! Какие вы труды подняли: я чаю, все ноги притомили, издалеча идучи.

– К тебе, матушка, дорога недалняя, – сказала старая монахиня в медных очках.

– Не ко мне, а к Предтече Господню, – поправила бабушка. – Молились ли в соборе?

– Обедню, матушка, отстояли, – отвечала монашенка с волосиками. – Дивное служение!

– Владыка – молитвенник: наши худые молитвы в охапку взял да к Предтече Господню понес...

– А тот Спасу Милостивому предоставит, – весело и неожиданно подхватил монах.

Бабушка ласково обернулась на него:

– Хорошо ты сказал, отец Евстигней.

– Я, матушка, по пословице: скажи Николе, а Он Спасу скажет...

– Это еще лучше, коли не от своего ума. Вот и прошу тебя: внукам моим расскажи что-либо умилительное.

– Благослови, матушка.

– Бог благословит. – И она опять обернулась к монахиням. – Ну, спаси вас Господи, что пришли, не забыли и меня, старуху.

– Подарочки прими, матушка, – сказала монахиня в очках. – Не взыщи. Я тебе паглички теплые связала: когда, может, на руки наденешь.

– Спаси Господи.

– А я – салфеточку; угодила ли, не знаю.

– Спаси Господи за труды, за любовь. Параскевушка, хорошо ли их покоила?

Обе монахини поклонились враз:

– Много довольны, матушка. Благословите к вечерне сходить.

– Бог благословит.

И бабушка зашептала на ухо Параскевушке, а та молча кивала головой.

На минуту под села бабушка к столу, и Егорушка, улыбаясь широкою, не сходящею с лица улыбкой, подвинул к ней блюдце, до краев наполненное чаем, в котором плавали размоченные кусочки сухариков. Монашка с волосиками всплеснула руками:

– Что ж ты это, Егор, делаешь? Тебе от матушки угощение принимать, а не тебе ее угощать!

– Ан не так, – сказала бабушка, – я к ним, к малым, в гости пришла. Чем-то они меня угостят?

Брат подал ей половинку груши и просто сказал:

– Покушай, бабушка. Ты какая-то неедучая: ничего не ешь!

А Егорушка подбавлял в блюдечко с чаем сухариков и кусочков груши и придвигал к бабушке, ласково причмокивая языком. Бабушка наклонилась и сделала глоток из блюдца:

– Вкусный у тебя чай, Егорушка!

Он в ответ закивал головой.

Бабушка отведала и от братниной груши, и от тонкого пшеничного сухарика с медом, который я предложил ей.

– Сладкие же у вас сласти, – сказала бабушка, – и не едывала я таких...

– Бабушка, ты еще попробуй! – крикнул радостно брат, предлагая ей смокву. – Ты, бабушка, у нас побудь.

И мы все трое – Егорушка, брат и я – принялись угощать и бабушку, и Параскевушку, и монаха, и монахинь – *нашим* чаем, *нашими* сухариками, *нашими* дулями<sup>1</sup> Брат совсем разошелся.

– Бабушка, ты гости у нас! – сказал он, обняв ее рукой. – Я тебе что расскажу...

Я знал, что брат хочет рассказать бабушке. Это были две вещи: первая – о том, что он строит теперь в саду крепость и войску приготовлены ружья – стволы высоких подсолнухов, и другая – спросить самое бабушку про кота... Это было самое важное. Брат говорил мне, что сам спросит бабушку. Об этом был у нас с ним «уговор лучше денег».

– Гошу, гошу у вас, милые, – отвечала бабушка.

И брат раскрыл уже рот, чтобы спросить про кота. Это было важнее, чем рассказ про вооружение подсолнухами...

Но в это время вошла мама и чуть не всплеснула руками, увидев бабушкин чай, которым угощал ее Егорушка, и сообразив сразу, что уж не мы у бабушки в гостях, а она у нас, и хозяйничаем мы...

– Тетушка, – сказала мама, – отец протоиерей вас ждет, и Митрофана Егорыча сын, и дама какая-то...

– Иду, иду, матушка Аночка, – виновато заторопилась бабушка, вылезая из-за стола, но тут же поклонилась нам и сказала ласково: – Ну, спасибо вам, добрые хозяева, за чай, за сахар, за привет, за совет...

Мама с бабушкой ушли, и вышла к ним Параскевушка, а Марьюшка скоро прибежала за няней.

– Будьте умники, – сказала няня, уходя, и боязливо посмотрела на Егорушку.

---

<sup>1</sup> Сорт груш

Но он достал из кармана еще кусочек воску – и лепил из него что-то. Что будет? Мы смотрели с братом.

– Монах, – шепнул я брату.

– Монашка, – отвечал он.

Отец Евстигней глянул через стол на воск и сказал:

– Схимник.

– Что такое схимник? – спросил я.

– У бабушки спросите! – сказала монашка с волосиками.

– А вы не знаете? – сказал я.

– Знает, батюшка, знает, – сказала старшая монахиня, – да мы не ответливы.

– А я не хочу про схимника, – внезапно и решительно объявил брат, – я хочу про тихого зверя...

– Ах ты, мой кормилец, – обрадовался монах, – вспомнил, бабинькино послушанье мне напомнил. Ну, изволь, изволь.

Брат придвинулся к нему ближе, а монашки посторонились и сели поодаль и сначала слушали, а потом задремали. Егорушка же все лепил свое.

– Видишь, разумный, что матушка вспомнила. Я тридцатый год в монастыре живу, а тогда только жить начинал, молод был, только подрясник надел...

– А у вас были дети? – вдруг перервал брат.

– Нету, милый, нету, у монахов детей не бывает.

– Они неженатые?

– Вот, вот, милый, неженатые.

– Им скучно?

– Они с Богом, с Богом, милый, весело.

– И вам весело?

– Я грешный, милый: грехов у меня много.

Я дернул брата незаметно за рубашку. Мне хотелось слушать.

– И вот, летнее время, выпросился я у отца игумена на богомолье, в Соловецкий монастырь, к окиян- морю.

– Там монахи на лодках плавают?

– На кораблецах малых...

Я опять дернул брата, и он замолчал.

– И вот иду я долгие дни, то с мужичками по пути, то с богомольцами, то один. Леса пошли дремучие. Птицы поют, и всякий цветок на своем месте, где ему положено Богом, цветет: иной – при дороге, другой – на болотце, третий – на луговинке; синий, белый, желтый – кто покрасил? И все благоухают, каждый с своего места. И птички поют, и тоже каждая с своего места Бога хвалит: иная – на виду человеческом, другая – в лесной глубине, а третья – в синем небе высоко, человеку незримо. Всякое дыхание да хвалит Господа! Без слов оно это слово Божье понимает и исполняет. Иду это я дорожкой узенькой и вдруг примечаю: на дорожке лапки лежат новешеньки. Чьи, думаю, кто забыл? Поглядел, а в стороне стоит туюсок пустой.

– Что такое туюсок? – спросил я.

– А это, милый, с обрубка березового бересту цельную снимают да днище и крышку к ней приделают – и служит вместо ведра... Увидал я туюсок – подумал: неспроста это. Поглядел вокруг – и примечаю, что будто трава, как тряпочкой, примята. Пошел я в гущину лесную по примятой траве и шел долго. Лес потемнел, и стал я, милые, бояться зверя. Медведи в той стороне лютые: выходят на дорогу и медвежат выводят, и играют на страх человекам. И боюсь, боюсь: ноги подгибаются, и куда, думаю, иду? Вернусь назад! Обернусь – и не вижу, где трава примята, где нет: всюду густота. Присел я около сосны, на мху, и заплакал. Вдруг затрещало вокруг меня, захрустело; лесолом пошел. Понял я, *кто* идет. Упал я лицом в мох, зарылся

лицом до ушей, не дышу, творю молитву, лежу, яко мертв. А зверь надо мной наклонился, дохнул на меня теплым дыханьем своим, лизнул в затылок – и прочь удалился, и слышу: далеко уж ломит свой лесолом. Встаю я. Господи, думаю, зверь мимо прошел, не тронул. Нет, что я! Тронул – языком лизнул: дескать, на вот тебе, знай, что знаю я, зверь дикий, что ты – человек, и тебе знать даю, но мимо иду и не врежу тебе. Понял я, милые, звериную эту думу, благодарю Бога, слезы в глазах стоят, а сам вопрошаю себя: откуда же это здесь зверь тихий? Откуда зверь милостивый? А сам все иду в чащобу и не вижу, что пришел уж: стою на полянке, иванчай розовый, точно сеянный, колыхнется ласково, а посреди – избушка, а перед ней – пень выкорчеванный, а на пне – старец сидит и с улыбкою меня к себе манит. Пал я на колени, благословился у него – молчу, смотрю в лицо его: светел лик и тих... И сказал он:

– Как ты, раб Божий, дошел доселе? Зверь тебя не потревожил ли?

А я думаю: смею ли сказать «потревожил»? Не обласкал ли он меня, трусливого и глупого?

– Нет, – отвечаю, – отче, не потревожил меня никто. Зверь у вас тихий.

Он улыбнулся мне, и еще подобрело его лицо:

– Это ты хорошо сказал, раб Божий: у нас зверь тихий весь. – И зорко так на меня посмотрел, и я смутился, а он спрашивает:

– А видал ли ты его?

– Кого, батюшка?

– Тихого зверя.

И вижу я, что все ему ведомо. Не смею на него смотреть. Потупил голову. А он опять спрашивает и будто смеется:

– А туесок видел? А лапотки?

– Видел, – говорю.

– Глупый ты. Удивление какое нашел! Туесок да лапотки нас кормят: сплетем их здесь, сготовим, на дорогу положим – придут боголюбцы, возьмут, что кому надо, а нам хлеба оставят.

– Да ведь хлеб-то, батюшка, зверь съест.

– Глупый ты какой, непонятливый. Говорю тебе: зверь у нас тихий. Никого не съест.

И поверьте, милые, обернулся я на поляну – и никогда я столько птиц не видал: всем в охотку, видно, здесь гнезда вить. И поют, поют. Ввел меня старец в келейку, а там на лавке другой старец – еще старей первого – лежит, будто дитя малое, и четки перебирает, а глаза закрыты. Ужаснулся я.

Посадили меня старцы за стол, дали хлеба с солью, да воды ключевой, да морошки лесной, я ем, а в окно кто-то торк, торк. Обертываюсь. Вижу – голова лосиная. Приподнял старец окошко – и подал сохатому ломоть хлеба... А я молчу. Дивлюсь. «Опять тихий зверь», – думаю.

И пробыл я у старцев час, – благословили меня оба, указал дорогу младший, поклонился низко и сказал:

– Теперь ступай. Никто тебя не тронет. Тихий Ангел тебе в путь.

И ушел от меня. А я на дорогу вышел, к лапоткам и туеску, а их уж нет: вместо них лежит круглый хлебец ячменный да кошелка стоит, а в ней сот два меду, пук свечечек восковых да щепотка ладану. Нагнали меня богомольцы – и пошли мы на Сию, к угоднику Божию Антонию.

Монашки обе дремали возле пяльцев, брат, оперши щеку рукою, не отрываясь смотрел на монаха, а мне Егорушка совал в руки восковую фигурку.

– Вот, милые, – сказал отец Евстигней, – исполнил я бабинькино послушание: рассказал вам про тихого зверя. Больше ничего не знаю.

Егорушка поднялся с своего места, перекрестился на образ и, бормоча что-то про себя, вышел было из комнаты, показался опять на миг, сделал земной поклон – и ушел...

Брат спросил:

– А медведь был большой?

– Не видал, милый, – отвечал отец Евстигней. – «Трусоват был Ваня бедный».

– Какой Ваня?

– Да я был Ваня. Я же и трусоват. Такой стих есть.

В это время вошла няня с Параскевушкой, а монашки у пялец очнулись от липкой дремоты и всполохнулись:

– К вечерне, гляди, скоро зазвонят, а мы еще у матери Надежды не были. У нас к ней от матери казначеи поручение.

– Ну, что ж, подите, – сказала Параскева, – а после вечерни зайдите – на путь матушка благословит.

Монашки вышли, няня принялась прибираться на столе, перекидываясь изредка словами с монахом, а Параскевушка, присевшая было на минутку, вдруг встала со стула и заахала:

– Батюшки мои, образ-то «Благое Молчание» не утвердила я у матушки, да и лампадки надо бы поправить.

Она хотела идти в бабушкину комнату. Я робко попросил, как о великом и невозможном счастье:

– А нам можно с вами?

Просил Параскевушку я, а не брат, потому что я чувствовал, что она меньше любит брата. Я решил это потому, что слышал, как она раз говорила няне про брата: «Боек, нянюшка, больно боек», – и хоть няня защищала брата: дитя, мол, что с него взять! – Параскевушка нашлась, что сказать: «Все, нянюшка, дети, а одно бывает дитя тихое, а другое – бой боем...»

Я думаю, что брат чувствовал, что Параскевушка больше любит меня, и при ней больше помалкивал. А мне было стыдно, если я замечал, что брата любят меньше меня, потому что ни отец, ни мать нас не «делили», и мы жили дружно, и большинство игрушек у нас были общие: когда кому-нибудь из нас дарили новую игрушку на рождение или именины, то и другому, не имениннику, тоже что-нибудь дарили, или получивший игрушку заявлял: «Эта будет общая!» – и самые веселые игрушки были общие.

– Можно, – отвечала на мою просьбу Параскевушка, и мы пошли с братом за нею в бабушкину комнату. Оба мы притихли.

#### 4

Бабушкина келья была еще тесней, чем «светлица» и келейницкая. Она казалась еще меньше оттого, что в ней всегда стоял полумрак: единственное окно было занавешено сплошь частой кисеей, а пониже еще и темно-зеленой занавесочкой; даже одна из ставень за окном была закрыта.

В переднем углу у бабушки стояла дубовая божница, а в ней, при свете трех лампад – двух висячих и одной стоячей, на деревянной подставке, – тускло сверкали серебряные и золоченые оклады икон и темнели лики. Перед божницей стоял аналой, покрытый пеленою из синего шелка, вышитого белыми розами, а на нем лежала толстая, закапанная воском Псалтырь; открытую страницу пересекала широкая закладка из бумажной канвы, шитой шелками, с концами из малиновых лент. Перед аналоем был раскинут маленький, шитый тюльпанами коврик. По стене, примыкая к божнице, были еще две дубовые полки, устланные белыми строчеными полотенцами.

Мать Параскева положила поклон перед аналоем и нам приказала положить, приняла с аналоя лежавшую на книге икону и принялась уставлять ее на нижней полке. А мы смотрели и дивились. Чего только не было на двух этих полках! Был деревянный, пятиглавый с золочеными крестами храм, непонятным образом вмещенный в обыкновенную стеклянную бутылку, а пробка была у нее в виде синего купола с крестом. Подле стояла вытесненная из дерева,

фигура сидячего монаха: весь в черном, с белыми крестами на куколе и на епитрахили, опустив глаза, сложив руки, сидел он, и нельзя было понять, мертв ли он или спит, или погружен в молитву...

– Он умер? – шепнул мне на ухо брат.

– Спрошу, – еще тише отвечал я, но долго не решался спросить. Все-таки спросил.

– Нет, он не умер, – ответила мать Параскева. – Нил Преподобный это, столобенский угодник. На озере, на острове, подвизался. Угодники Божии не умирают. Они уснут смертным сном, а Господь их в Царстве Небесном разбудит. Со Ангелами, со Архангелами.

– Ангелы не спят, – вздохнув, сказал брат.

Я с тревогой посмотрел на келейную, но она похвалила брата:

– Вот, верно сказал. Ангелы сна не знают. Умник.

– Они нас хранят, – сказал я.

– Да, нас хранят. В молитве как сказано: «Ангеле Божий, хранителю мой святой...» Значит, когда же Ангелу спать?

А рядом с деревянным черным старцем стояло деревянное же Распятие. Мы долго смотрели на него. У Креста стояли раскрашенные яркими красками Божия Мать и апостол Иоанн, и воины в касках, со злыми лицами и раскрытыми широко ртами, в которых виднелись белые и крупные, как камешки, зубы. На Спасителе был терновый венец, а из боку у Него текла кровь – алой, острой струйкой по белому, как снег, телу. Гвозди черными большими выпуклыми точками крупнели на ладонях и ступнях Спасителя.

От лампы на Распятие падал свет – бледный, аловатый, грустный, – и нам было страшно и жутко смотреть на Господню муку.

– Мух бьешь, небось? – внезапно обратилась к брату Параскева, приметив, что он не отрывает глаз от Распятия.

Он ничего не ответил, и нам стало еще страшнее.

– А вот и нельзя! – резко сказала Параскева. – Нельзя! Бить нельзя. Знаешь, что было? Видишь, коими гвоздями Господа пригвоздили ко кресту? Страшные, черные, ржавые. Пригвоздили ручки и ножки, а злобе все мало: «Давайте, – первосвященники, собор сатанин, говорят, – давайте в грудь Ему, в самое сердце, гвоздь вобьем самый ржавый, Ему больней будет, и крепче ко Кресту прибьем». И велели принести гвоздь. А мушка это услышала – черная мушка, большая, жужжалка крупная, – пожалела Спаса Господа и к Нему на Тело Пречистое, о то самое место, где сердце, и села, и сидит недвижно, не шелохнется. Пришли воины с гвоздем, видят: шляпка от гвоздя у Господа на груди видна, и говорят первосвященникам: «Что ж вы зря нас гоняете? Злоба ваша, видно, ослепла: смотрите, и так в то самое место, куда хотите, гвоздь уж забит: вот и шляпка торчит!» Смотрят первосвященники – и правда, шляпка видна. Воины гвоздь закинули за гору, за Голгофу, а мушка-жалостница, пока Господь на Кресте висел, все время на груди у него просидела. Так гвоздь в сердце Господу и не вбили. Вот и нельзя мух бить... Понял? Нельзя!

Мы молчали.

Она сняла букет засохших трав, тщательно перевязанный лентой, и показала его нам: будто бусинки желтели на увядших стеблях:

– Это – плакун-трава. Когда Мать Пресвятая Богородица шла в горести с Голгофы и капали у Нее слезки на землю, – ни одной слезы мать-земля не пропустила, все до одной сохранила, и выросла плакун-трава, будто от горя к земле пригибается, и слезки пречистые на ней окаменели.

Она провела нам по лицу пучком сухой травы и сказала, убирая пучок на полку:

– Это для здоровья. Чтобы глазки не плакали. Господь всякую слезу на небо берет, а Ангел им счет ведет. Ни одной слезы нечитаной нет.

– А животные плачут? – спросил я.

– А ты думаешь, нет? Конечно, плачут. Только их слезы другой Ангел, чем людские, считает – и не в людской счет они вписаны, а в особый.

– А зачем? – спросил я.

– А затем, что в оный день Ангел их Господу представит.

– Какой оный?

– Оный – Судный. На Страшном суде Господу весь звериный счет покажет, сколько какой зверь от человека потерпел и слез пролил, и с человека того Господь каждую слезу звериную взыщет...

Брат положил мне руку на плечо.

– И Васька плачет? – сказал он и покраснел.

– Плачет, – сказала Параскева, – только не от горести, – бабинька его любит, обидчиков ему нет, – а стареет – оттого и плачет... А вы попомните мое, старухино слово: никакого зверя не обижайте. Звериная слеза тяжелая, она с человека взыщется. Зверь молчит, а плачет: в слезе его слово, и Ангел слово это слышит...

Параскева присела на скамеечку возле бабушкиной постели. А мы сидели возле, на горбате тряпичном коврик.

Еще давно мы заприметили: на высокой скамеечке, стоявшей поодаль от кровати, спал большой, рыжий с белым кот – голову положил на вытянутых передних лапах, а хвост свесил со скамейки; морда рыжая, только на лбу белое пятно в грецкий орех; волосат: усы длинные, как две белые струйки, бегут в разные стороны, и на щеках кустики волос торчат, и в бровях волос, как фонтан, бьет, а нос – розовый и свежий, как лепесток розана. Видели мы: не поднимая головы, повел глазами – крупные, желтые, как желтый топаз с изумрудными вставочками, с изумрудной гранью, – повел на нас глазами недовольно и сонно и опять заснул. А когда Параскевушка уселась на другой скамейке, близ его, котовой, скамьи, он поднял голову, повел носом, зевнул, слез со скамьи, потянулся в самую долгую растяжку перед матерью Параскевой и, мурлыча, вспрыгнул с осторожностью ей на колени.

– От кого же это мне, сударь кот, денежки получить? – промолвила она ему. – Ну, говори, от кого?

Она водила рукой по шерсти, а он пел долгую, тягучую, как старое доброе вино, песенку, и то жмурил, то приоткрывал умные свои янтарные зрачки, сверкавшие в полутьме изумрудами.

– Не считаны еще те денежки, которые нам с тобою получать, сударь кот! Верно тебе говорю, верно, Василий Иванович...

Никогда не слышали мы таких разговоров с котами. Наш домашний Васька попросту ловил мышей, ел печенку, бегал с нами в прятки, пел нехитрые песенки – и никто с ним никогда не разговаривал. Мы, дивуясь, слушали Параскевушкин разговор.

А Параскевушка продолжала:

– Без денег хороши, сударь Василий Иванович, – деньги – в мир ход, а к монахам – неход: в миру денежка звенит, а в монастыре, как тля, глит...

«Урлы, урлы, урлы-рлы-лы – у-рлы!» – отвечал кот, – правда, отвечал, потому что он притишал, а то и вовсе сводил на нет свою песенку, пока Параскевушка с ним говорила, а только что она умолкала, он заводил тягучей и громче покойную свою песенку – умную песню. И спина у него изгибалась приятно мягкой рыже-белой волною.

– Прожили без денег, сударь Василий Иванович, и, Бог даст, доживем без денег. Будут добрые люди – будет и молочко тебе. Будут – будет, – она ласково и размеренно водила по спине кота худой своею рукою.

А мы, не сводя глаз, присев на корточках, смотрели на кота. Изумрудные огни в глазах у него то еле мерцали, то наливались острым, глубоким светом. А рыже-белая спина все выгибалась и опускалась, опускалась и выгибалась, как гребень вечной волны. И вдруг кот закашлял,

вытянув морду, закашлял сухим, старческим кашлем, с передышками, сменявшимися новым кашлем, – и глаза его сделались еще умнее, и весь он вытянулся от напряжения.

– Старики мы стали с тобою, сударь кот Василий Иванович, – сказала грустно Параскева, – копеечки за нас не дадут. Что на меня глядишь? Стар, сударь, стар.

Кот свернулся в клубок и затих.

– Ишь, и поседел...

Тут мы с братом ахнули от удивленья и нагнулись на корточках над котом.

– Как поседел?

– А вот, изволь, гляди, батюшка, – сказала Параскевушка и указала на темя кота. Оно было густо-рыжее, в коричнету, и лоснилось, но там и сям виднелись на коричнете белые волосы – котова седина.

Параскевушка погладила кота по голове и сказала со вздохом:

– Зима-то для всех равно, батюшки мои, приходит: и для человека, и для зверя. Всех снег серебрит, а посеребрит, посеребрит, полежит снежок на головушке – и в могилку.

Она пригорюнилась на минутку, встала со скамейки и перенесла кота на его скамейку.

– Ступай-ка лежи, сударь, а я тебе поесть принесу.

Но удивлениям нашим не был еще конец.

Параскевушка открыла ящик бабушкина комода и вынула оттуда тяжелый серебряный портсигар. На крышке портсигара, под слюдою, была миниатюра: на слоновой кости был изображен большой рыже-белый кот; он лежал на всех четырех лапках и смотрел чуть прищуренными желтыми глазами.

– Вот какой молодец был сударь-то наш кот! – сказала Параскевушка, показывая нам портсигар. – Молодец был и красавец.

– Это Васькин портрет? – сказал брат.

Он смотрел то на Ваську, то на портсигар и не верил глазам.

– Портрет. Художник писал. По заказу.

– А почему?

Но Параскевушка спрятала портсигар и отрезала:

– Долга песня. Вырастешь – узнаешь.

Ах это «вырастешь – узнаешь!» Часто мы это слышали, и не было ничего хуже – слышать это от папы, от мамы, от няни, от всех старших.

Почему снят был с Васьки портрет? Почему на портсигаре? Почему портсигар у бабушки? «Вырастешь – узнаешь!»

Няню мы спрашивали обыкновенно после этих слов: «А когда я вырасту?» – и она отвечала: «Когда будешь большой!» – «А когда буду большой?» – «Когда вырастешь...» Ничего из спрашивания не выходило, но тут было так интересно, так все таинственно: кот седой, кот кашляет – и он же молодой, красками, на портсигаре, – что я уж хотел задать Параскевушке вопрос, когда совсем неожиданно отворилась дверь из светлицы и вошла сама бабушка. Завидев ее, кот остороженько слез со скамейки и пошел к ней, тихо мурлыкая. Подойдя к бабушке, он потерял мордочкой о нее, поджал лапки и лег на полу.

– Куда приплелся? Лежал бы, – сказала бабушка. Но тут же заторопилась: – За вами я пришла, милые, пойдемте-ка: отец архимандрит благословит вас.

А нам не хотелось идти из бабушкиной комнаты. Столько вопросов хотели мы задать бабушке, а главное, главное – спросить о коте. Но бабушка зорко оглядела нас обоих с ног до головы, оправила на Васе рубашку, провела гребнем по моему непокорному вихру на макушке, посмотрела на наши руки – чисты ли – и повела нас с собою в светлицу, а кот поплелся недовольно на свою подстилку.

В светлице за столом было полно народу. Тут были мама, отец в черном сюртуке, застегнутом на все пуговицы, Анисим Прохорыч с золотой медалью на шее, две-три важные мона-

хини, игуменя с золотым крестом на груди, а поодаль от всех – с промежутком – на кресле сидел важный седой монах с длиною бородою, в выпуклых очках, с несколькими крестами на цепочках и на лентах на груди.

К важному монаху подвела нас бабушка, сперва меня, потом Васю, и сказала:

– Вот, отец архимандрит, внуки мои! Благо словите.

Архимандрит привстал с кресел, благословил нас белою пухлой рукой и дал ее поцеловать. Мы, получив благословение, стояли перед ним, брат рассматривал его ордена, а он, обернувшись к отцу, сказал:

– Божие благословение, вам ниспосланное, вижу в сих чадах, почтеннейший Николай Иванович...

Отец был простой человек и отвечал просто:

– Бога благодарю, ваше высокопреподобие: ребятки хорошие.

– По молитвам матушки, – продолжал архимандрит, – Бог поможет, и возрастите, и обрадуете, и утешение получите, яко Иосиф. Чада утешительны к старости...

А брат, любитель и знаток военных отличий и орденов, жаловавший ими щедро своих оловянных и деревянных генералов, смотрел на архимандричьи кресты на орденских лентах, смотрел и думал, и, насмотревшись, прямо и просто спросил архимандрита:

– Вы – генерал?

Я видел, как отец улыбнулся и спрятал улыбку, игуменя покачала головой, мама недовольно посмотрела на брата, а бабушка – маленькая и тихая – зашептала что-то брату, – и голова у нее тряслась от старости и усталости хлопотного дня.

Архимандрит спокойно и вразумительно отвечал брату:

– Ордена даются, милый мой, не одним тем, кто воинствует оружием, но и тем, кто подвизается в духовной брани...

Брат ничего не понял из этого объяснения и, вероятно запомнив из всего только одно слово «оружие», простодушно спросил:

– Вы были на войне?

– Не был, милый, не был, – несколько уже досадливо отвечал архимандрит. – Я не генерал, – и, обратившись к матери, сказал: – Простота детская!

Не помню, что ответила ему мать.

Брату было неинтересно дальше спрашивать, и он не любил быть среди незнакомых взрослых и не знал, можно ли идти ему или нет. И я не знал, но пока мама отвечала что-то архимандриту, а тот ей, брат вдруг что-то вспомнил, глазки у него заблестели, и, подбежав к бабушке, он громко заговорил:

– Бабушка, бабушка, а что я вас хочу спросить!

– Что, милый?

Старушка с любовью смотрела на него и ждала, а он на минутку потупился и притихшим голосом сказал:

– Бабушка, вы – старица?

Взрослые переглянулись и улыбнулись, старшая монахиня что-то шепнула с довольным видом игуменье, а та – матери, бабушка же закивала головою, с ласковым упреком глядя на брата:

– Нет, милый, я не старица, я простая старуха – больная, да старая, да грешная.

Она была смущена и подавлена.

Мама обернулась к нам из-за стола и сказала:

– Поклонитесь, дети, поблагодарите за внимание и идите к няне.

А няня была уже в дверях.

В это время гулко и весело полоснул воздух первый удар монастырского колокола, звавший к вечерне. Все перекрестились.

Гости встали из-за стола. Все пошли в церковь. После вечерни бабушка провожала нас до Святых ворот. Она перекрестила нас дрожащею рукою и поцеловала в лоб, и, когда брат крикнул ей с пролетки:

– Бабушка, ты приезжай к нам! – она ответила с грустью:

– И, милый, бабушка сидячая стала – камешком на месте лежит. Ты-то к бабушке приедешь ли?

– Приедем! – крикнули мы с братом. Нам стало ее почему-то жаль. – Приедем! – повторили мы.

Долго мы оглядывались на монастырь. Бабушка стояла в воротах и крестила нас.

А вверху нашей пролетки – мы ехали с няней и со Степаном на второй пролетке – уже заветный «бабушкин кулечек».

Кулечек позволялось развязать лишь на другой день, – «а то и так вас бабушка залакомила», – но мы знали, что там было: были всякие сласти и еще какие-нибудь бабушкины особые подарочки: либо бисерный кошелек, либо бисерная же вставочка для перьев, либо рамочка, оклеенная золотой бумагою и раковинками.

Нас рано уложили спать, раньше обычного. Нам велено не разговаривать в постелях и скорее заснуть. Мы устали за день. Сами слипаются веки, они тяжелы, налиты усталостью и падают одно на другое. Сон ходит совсем близко. Беспреданно заглядывает он в кровати, а Дрема уж и заглянула, и осталась в кроватках. Но есть кое-что и посильнее их, – и вот брат явственно выговаривает из своей кровати:

– А бабушка курит!

Нам обоим – и ему, сказавшему, и мне, слушающему, – страшно этих слов, но он говорит, а я слушаю.

Я молчу, и он чувствует в моем молчании самый настоятельный, нетерпеливый вопрос и отвечает:

– Оттого у нее портсигар. Она курит.

Но все это так невозможно, так странно, так ужасно думать и сказать так про бабушку, что я, в слезах, говорю торопливо, давясь словами и слезами:

– Неправда, неправда! Монашки не курят! Портсигар – так. Он – просто. Нельзя... про бабушку... Неправда!

Я всхлипываю, пряча голову под подушки.

Брат молчит. Он долго молчит. И я знаю, что он этим молчаньем не только отказался от своих слов, но ему жалко и меня, и бабушку, и он сам, наверное, заплачет...

Но мы – свое, а Сон и Дрема – свое. Они не мешкают. Дрема совсем подобралась к нам под бочок, и от нее идет такое тепло, что не хочется больше ничего, кроме тепла и покоя. А Сон наклонился над нами, и тихо пальцами, – а пальцы у него длинные, мягкие, невидимые, – закрывает нам веки, и дышит на нас, а в его дыхании – покой, нега, темнота.

И мы засыпаем.

## Часть II

### 1

Бабушкин *день* я знал ребенком, отроком; бабушкину *жизнь* я узнал взрослым.

Она была единственной дочерью моего прадеда, хлыновского первой гильдии купца Прокопия Ивановича Подшивалова. Купечество рода Подшиваловых покончилось моим отцом, а началось моим прапрадедом, дедом Прокопия Ивановича – Иваном Парфеновичем, который, говорит семейная память, приведенный матерью из Костромской губернии в Хлынов парнишкой в лаптях, в голодный год Христа ради отдан был в мальчишки первому богачу в Хлынове – кожевнику Малкову. Иван Парфеныч, пройдя стуклолочную школу в мальчишках, навек остался бы в приказчиках у Малкова, если бы не особая его удача: едуци с хозяином с Макарьевской ярмарки в Нижний, он спас хозяина от неминуемой гибели. В недобрый час, вечером, ямщик, выпив лишнего, отыскав будто бы брод в лесной глубокой реке, завез их в такую стремнину, что стало тарантас вертеть, а ошалелые лошади рвались вперед не к берегу, а на стрежень. Малков плавать не умел, был тучен и труслив, и вопил по-бабьи, и быть бы ему в пучине, если б не Иван, который, скинув сапоги и сбросив поддевку, на себе с трудом доволол хозяина до берега, а затем, оставив его на песке, сорвал с себя на ходу жилетку и вплавь добрался до тарантаса, уже залитого водой, и из-под потайного места под сиденьем выхватил хозяйскую небольшую кожаную сумку с векселями и банковскими билетами на крупнейшую сумму, и еле-еле доплыл с нею до берега, и, подбросив ее на песок, к хозяину, сам повалился наземь и еле отдышался. Ямщик и лошади потонули.

Иван с хозяином ночевали в лесу, а когда рассвело, Малков посмотрел на Ивана Парфеныча, будто в первый раз его видел, расцеловал его и сказал: «Ну, спасибо тебе. Людей здесь нет – хочешь, и в ноги поклонюсь». – «Не надо, хозяин», – отвечал тот. «Мне знать: надо ли, нет ли, – и поклонился, а поклонившись, встал и сказал: – Это я тебе за жизнь свою, за спасенье души моей, что не дал погибнуть без покаяния, но ведь этого мало: ты два раза меня спас, – и он указал на кожаный мешок. – Ты, вижу, не только Бога боишься, но и купец настоящий: о душе вспомнил – и купечества не забыл, – и опять ткнул в мешок. – За душу я тебя поблагодарил и в поминанье впишу, а за купечество мое, за сохранение его, дома поблагодарю. Считаю за мной». «Дома» же Малков перевел немедленно же Ивана Парфеныча торговать «на отчете» в уездный город, то есть дал ему большую самостоятельность, а через некоторое время позвал его к себе, позвал бедную свою дальнюю родственницу Анну Акимовну, тихую, некрасивую и немолодую уже девушку, и ей сказал: «Долго ты своего определения у меня ждала: я чай, бранила дядю-то, но вот и дождалась. Вот тебе жених, – а ему добавил: – А тебе невеста. Лавку же, где у меня торгуешь, в приданое, всю, со всеми потрохами, и с домом. На булавки прибавлю особо». Малков не ожидал возражений, а они могли бы быть, потому что у прапрадеда была девушка, намеченная в невесты и, говорят, он любил ее, – но... должно быть, больше вспомнил он в эту минуту о «купечестве», чем о «душе», поклонился в ноги хозяину и сказал: «Век благодарить буду». – «Ан не будешь, – отрезал Малков. – Я этим херю свой долг тебе за „купечество“. Теперь мы с тобой в расчете: ни я тебе, ни ты мне».

Он так это исполнил точно, что даже на свадьбе у прапрадеда не был – чтобы не начать с этой чести нового счета между ними. А Иван Парфеныч с своею некрасивой Аннушкой переселился тотчас же в уездный город и стал купцом. По-уездному они жили очень зажиточно, а между собою складно и безукоризно, но Иван Парфеныч – у которого отец-однодворец рассчитал корявый ветлужский лес и пнями швырялся – жаловался приятелям, что «вся сила его за прилавком не умещается, а ходит по жилкам, по суставчикам и не знай куда забирается». Эту

силушку он пытался всячески успокоить: то покупал лошадей необъезженных и сам на тройке объезжал так страшно, что на руках у него синие жилы чуть не на вершок приподнимались, а улицы, по которым он выезжал на большую Екатерининскую дорогу, пустели, и бабы, погребав ребят с улицы, запирали их на замок; то, после того как городничий запретил прапрадеду его буйный объезд, сходил он за городом, на пустыре, врукопашную с молодыми мясниками и самыми матерыми бурсаками из уездной бursы – и не всякий из богословов и ббенных бойцов решался схватиться с ним; то увлекался тушением пожаров и однажды провалился даже с кровли горевшего дома, спасая забытое «Божие милосердие» – иконы; то травил бойцовых гусей с гостинодворцами, а то отправлялся пешком на богомолье в Киев, в Соловки, в Почаев, куда-нибудь подальше и потруднее. Он и умер не в своем уездном Лукове, а в каком-то лесном отдаленном монастыре, – и прабабушка ездил на могилу его в тот монастырь, – и умер он от самой обыкновенной дорожной простуды, от которой монахи лечили его афонской травкой, а он пил травку и говорил спокойно и покорно: «Нет, отцы, видно, подкосило мою травку. Не встану».

Он оставил большую семью. Прадед, Прокопий Иванович, был вторым сыном. Он рано выделился из отцовского дела и переселился назад, в губернию, в Хлынов, открыв маленькую торговлю, а более присматриваясь, кто чем торгует и кто что покупает. Присмотр его привел к тому, что он поразился, что на сотни верст кругом все только покупают и продают, а никто ничего не производит – и фабрик нет вовсе. Присмотр свой он расширил – побывал в Нижнем на ярмарке, побывал в Москве – и поразился тут другим: что все покупают шелковые товары, все ими торгуют и не с Россией только, а с бухарцами, персианами, хивинцами, а никто – за самыми ничтожными исключениями – их не производит: все привозят из-за границы. Побывал он и на двух-трех фабричках под Москвой – нашел, что работают плохо, мало, и отметил про себя, что все и не знают, как лучше работать, а знают только хвалить заграничную лионскую работу.

Побывав в Нижнем, в Москве, насмотревшись на французские муары, фай-франсе и фуляры, прадед задумал свою думу. Однажды призвал он своего доверенного приказчика, с которым вместе вырос в Лукове, вместе на Святую на колокольне звонил и голубей гонял, своего погодка, Семена Семеныча, и сказал ему без обиняков – во всю жизнь была у прадеда манера так говорить: без приступа, без подхода, прямо и увесисто: «Вот что, Семен. Есть нужда мне поехать в чужие края. Отлучусь на год, может быть, на два, а лавку на тебя хочу оставить. Знаю: можешь ты меня за это время обворовать – не до разору, а до большого замешательства в делах, а если потерпишь и без воровства меня дождешься, – поверь, оба богаты будем: на меня хватит, да и тебе побольше останется, чем без меня у меня возьмешь. Видишь: как на счетах тебе выкладываю». Приказчик засмеялся в ответ и сказал: «Спасибо, хозяин, за открытое слово. Я воровом не был у тебя». – «Не был, – спокойно ответил прадед. – Я и говорю: не был. Хочу, чтобы и впредь не был, оттого все тебе и открыл». – «А если я тебе скажу, что им и не буду, – поверишь?» – «Поверю». – «А дозвошь спросить, как такому слову, вперед закидному, верить можно?» – «Думаю, что ум у тебя, Сеня, есть – оттого и верить можно. Другому бы не поверил». – «Кто ж наперед-то скажет, что будет или нет воровать?» – «А мне сказания не нужно, мне расчет нужен: принимать мой расчет-учет или нет?» – «А если прогадаешь?» – «Моя оплошка будет». Приказчик подал хозяину руку, а тот ее принял.

На другой же день подал он прошение губернатору о паспорте за границу; заехал справиться через долгое время, а чиновники говорят: «Не дает наш. Сами идите с ним говорить». Прадед пошел.

Губернатором в Хлынове был в те годы старый генерал, проделавший несколько турецких кампаний и говоривший, что есть только два стбящих народа на свете – русский да турок, а остальные – хлам; на левом глазу он носил черную шелковую повязку в целковый и иногда забывал, от контузии, первую половину начатой фразы, еще не дойдя до второй, а иногда,

в дамском разговоре, вставлял крепкое солдатское слово или турецкую фразу, и откупщик, дамский угодник, учившийся дома, по секрету, французскому языку, замечал: «Ваше превосходительство опять на бастионе!» Губернатор раздражался веселым смехом и повторял: «Вот именно, братец, на бастионе!.. Совершенно угадал ты: на бастионе!»

Генерал принял прадеда сурово и, подпустив его к себе на сажень, сказал:

– Это ты, братец, в басурманы запросился? Не позволю! – И повернулся, звякнув шпорами, но на сажени с аршином от прадеда прибавил: – Пойми, братец, доселе лица благородного только сословия Российским государством манкировали и разъезжали по заграницам, а ты хочешь, чтобы я позволил еще и лицам торгового сословия разъезжать по заграницам...

И оставалось генералу закончить речь свою заключительным «не позволю!» – как прадед мой почтительно и твердо сказал ему, как бы подхватывая его речь:

– Я, ваше превосходительство, того только и хочу, чтобы вовсе туда, в чужие-то края, никто не ездил...

Генерал не без интереса посмотрел на него:

– А как сего достигнуть?

– Я полагаю, ваше превосходительство, что едут-то за границу ради заграничного: чего у нас нет, в отечестве нашем, ради того и едут...

Генерал нахмурился:

– Да чего ж у нас нет?

– Да хотя бы того, ваше превосходительство, что по части мод и шелков. В загранице-то, в Париже, наши медом липнут ради товаров их, коих у нас нет. А вот ежели бы, смею сказать, мы их сами выдывали на ту же заграничную статью, то Париж-то бы, глядишь, в российские пределы передвинулся-с, в российские то есть мануфактуры. И благородное дамское сословие путь бы свой переменило-с...

Генерал понял деда – и так весело, громко и с удовольствием засмеялся, что на левом глазу у него заколыхался черный шелковый лоскуточек. Он высморкался громко и трубозвучно и вымолвил наконец:

– Разодолжил!.. Разодолжил!.. Так ты это и хочешь, братец, ехать в Париж, чтоб парижскую мануфактуру к нам в Хлынов привозить?

– В Лион-с, ваше превосходительство, хочу ехать, – поправил прадед.

– Еще того лучше! В Лион! Фай-франсе! Муар у них подсмотреть да этим же их муаром-то по мордасам их, по мордасам, как в двенадцатом году дубиной! А дамам нашим от ворот поворот – от Парижа в Хлынов!.. Налево кругом! Раз-два!

Генерал опять захохотал, даже расстегнул корявым пальцем толстую золотую пуговицу на мундире и хлопнул в ладоши дважды. Явился тотчас же дежурный чиновник.

– Принять и уважить его прошение. Я подпишу. Сегодня же.

И, обернувшись к прадеду, подал ему три пальца (на руке у него их было четыре) и сказал, весело подмигивая единственным глазом:

– Поезжай, братец, поезжай! Катай их муаром! Желаю успеха.

И прадед благополучно уехал за границу.

За границей прадед пробыл полтора года. Сохранились в нашей семье прадедовские заметки, веденные за границей. Писаны они на полях славянского месяцеслова, взятого им с собою в чужие края. Они очень кратки. «Николин день, – пишет прадед, – а здесь никому неведомо». «Пост, – читается в его отметке, – а здесь мясоед». «Сегодня день Ангела моего, блаженного Прокопия. Без обедни. Прости, Господи!». Подобных отметок больше всего. Затем есть выписки молитв, отметы дней памяти родных. Немногие заметки и самые краткие говорят: «Госкуется что-то»; «Сон: батюшка, покойник – и воду пьет; водополье, что ль, у нас?»; «Перед рассветом видел во сне: каплет воском маменька на стекло. К чему бы?»; «Благовеста здесь не знают»; «Святки. Грустится что-то»; «Сон опять: снег – и будто Пасха».

Ни одна заметка не говорит о том, что прадед делал на чужбине: считал ли он, что на желтые и крепкие, как слоновая кость, страницы молитвослова можно заносить только то, что относится к родине и к тому, что он любил на ней? Была у прадеда записка, она затерялась; там, говорят, были и цифры, и заметки, и приклеенные на бумагу маленькие образцы шелковых тканей, и наклейки. Он не любил вспоминать и рассказывать о своей жизни за границей, а если уж речь заходила о том, он приводил на память слова губернатора – коротко определял: «Военную службу свою я там отбыл – и кончено-с». Он видел Париж, был в Notre Dame и в редкие-редкие часы говаривал с усмешкой: «На башнях кресты малы, будто с шеи у кого сняты и к куполу припаяны, а с кровли на прохожих бесы лают...» Прабабушка, несколько раз за свою жизнь слышавшая рассказ, всегда прерывала его со страхом: «Живые?» – а он, не отвечая, продолжал с усмешкой: «Лают... Над домом-то Божьим! Наполеон, сказывают, хотел было бесов с кровли посшибать, да французы не позволили: „Взбунтуемся“ – пугают. Наполеон и отступился». Видел он короля на прогулке в Елисейских Полях. «А король – будто у нас добрый подьячий, и первый всем кланяется: извините меня, мол, что я королем вам прихожусь, не взыщите, мол...»

Прадед жил в Лионе, выучился понимать и самое нужное говорить по-французски, осмотрел там все шелковые фабрики, изучил все производство шелковых тканей, от червячка до фай-франсе, и когда я думаю, как он мог все это сделать, я соображаю, что это уже было в русской крови, и вспоминаю наших подневольных петровских голландцев с берега Яузы, присланных под смертным страхом выучиться голландскому языку, куренью кнастеру и кораблестроению. У деда не было смертного страха, как у них, – у него было желанье смертное все это вызнать, что он порешил у себя в Хлынове, и когда через два года губернатор встретил его у себя в приемной зале с веселостью: «А, парижанин! Муар-то, муар-то привез? Показывай. Заряжай пушку фай-франсе... по дамам, по дамам...» – то прадед спокойно отвечал ему: «Будьте покойны, ваше превосходительство, мы теперь при всем снаряде...» – «С муаровой артиллерией?» – и генерал опять засмеялся.

А через год в Хлынове уже действовала «Шелковая мануфактура Прокопия Подшивалова». Прадед привез с собою дагерротип, сделанный с него в Париже, – единственная роскошь, которую он там себе позволил. Дагерротип, выцветший и помутнелый, сохранился. Прадеду на нем лет тридцать. У него большие – «твердые» – карие глаза, властные и умные, с чуть-чуть насмешливой прищуренностью. Черты его правильны и даже красивы. Но есть что-то упорное и властное в лице, хотя ни над кем еще тогда прадед не властвовал, что напоминает лицо старообрядческого главаря – начетчика, хотя дед на дагерротипе одет во французское платье и снят с подстриженными волосами и небольшой бородкой. Не строги, а скорее грустны у него только углы губ; если уловить это, то вспоминаешь не его записную книжку и не ответы губернатору, а его коротенькие заметки в молитвослове. По дагерротипу он представляется высокого роста, а по рассказам – он был невысок.

Братья недружелюбно встретили его возвращенье из-за границы и спрашивали его с ехидством:

«Ну, что ж, французиньку с собой привез?» Но он никого не привез, а год спустя по приезде женился на внучке Малкова – прабабушке Федосье Петровне, писаной красавице по купеческому определению: пышной, здоровой, грудастой, краснощекой; ей было тогда восемнадцать лет, – и взял за нею большое приданое. От дагерротипа не осталось ничего: борода подросла и олопатилась, стриженные волосы отрощены под скобку, а про Париж прадед отзывался так, будто и не был в нем, – как отзываются все в купечестве: «Париж: уедешь – шалишь, а въедешь – угоришь!»

Как вернулся, так тотчас же и надел длиннополый сюртук и застегнул его на все пуговицы.

Приехав из-за границы, ни прадед, ни Семен не вспоминали отпускные слова о воре. Прадед некоторое время приглядывался к лавке и делам, а Семен молчал, будто и не было того

разговора. Месяца через три по приезду прадед точно так, как перед отъездом, призвал его к себе, но начал не он, а Семен:

- Ну, что же, хозяин, вор я или не вор?
- А как ты сам думаешь?
- Мне думать – тебе говорить.
- Скажу: не вор.
- И на том спасибо.
- Погоди. Вор ворует, а недоглядчик и недоглядывает.

И он указал Семену какие-то оплошности – мелкие и неважные, указал точно и неопровержимо, но, указав, не дал ему и слова сказать, а сам сказал:

– Спасибо. Ты уговор исполнил – черед за мной, – и тут же объявил, что переводит его на отчет в ту же лавку, а потом сделает доверенным по фабрике, с большим жалованьем, вторым лицом по себе.

Принимая от Семена отчет по лавке и по фабрике, прадед всю жизнь встречал его, шутя:

– А, *не вор* пришел. Ну-ну, сказывай, как у тебя там поворовывают.

Но поворовывать у Семена было нелегко: он был преданнейшим человеком прадеду. Семен умер старым холостяком, а все состояние свое оставил по завещанию прадеду же. Прадед шел за его гробом, проводил до могилы и сказал, отирая слезу:

– Почин сделал, Семен Семеныч. Теперь мне за тобой шагать.

Прадед завел торговлю шелком с Хивой, Бухарой, Персией. Он получал оттуда шелк-сырец, а продавал туда шелковые ткани. Он так угодил азиатам цветом, вкусом, рисунком тканей своих, что они не только брали нарасхват его товары, но на нижегородской ярмарке одолевали его восточными угощениями и ласками, а в подарок ему везли лазоревую бирюзу, прилепленную черной мастикой на деревянных палочках, бронзовые, с тончайшей резьбой из накладного серебра бухарские кунганы, персидские и текинские ковры, горы шепталы, кишмиша и урюку, тончайшие, все в черных мягких колечках, хивинки-шкурки. Еще в моем детстве нам достались в виде игрушек простые деревянные палочки с прилепленными к ним на головку овальными и круглыми кусочками бирюзы; она пожелтела и позеленела, будто и ее лазурь, как лазурь неба, подвержена переменам, но и с блеклою этой бирюзью палочки казались нам какими-то маленькими жезлами доброй волшебницы, приходившей к Спящей Красавице. Куски бирюзы и мутно-алого сердолика бывали запаяны в грубые, толстые оловянные кольца, в которые входили два и три наших пальца, – эти кольца казались нам с руки прекрасного великана, с руки короля Бирюзана. На бабушкиных сундуках, стоявших в девичьей и проходной, покрытых текинскими коврами, присланными прадедушке, мы с братом любили улечься в сумерки и задремать, пригревшись, прижавшись щекой к пыльной, кроваво-зеленой мозаике ковра. Туда чаще всего приходил к нам Невидим Невидимыч – безликий, тихий, верный – и, закрывая нам глаза, начинал свой рассказ, – никогда не кончаемый, – про маленьких бирюзовых человечков, про агатовых принцесс, про ковровые дворцы... никогда не кончаемый, потому что его прерывал всегда веселый забежчик Сон или лукавая поспешница Дрема.

Сохранились до нашего детства и прадедовы бухарские кунганы, но они угрюмо сиротели в маленьком чулане на чердаке под слоем пыли, и няня нам запрещала к ним прикасаться, пугая, что из них басурманы пили поганую воду из-под полумесяца. «Как – из-под полумесяца?» – недоумевали мы. «А так...» – отвечала няня и прятала от нас кувшины.

Но какие крупные дела ни вел прадед с азиатами, какие подарки ни везли ему его восточные приятели, какой парадный халат ни слал ему сам эмир бухарский, он никогда не принимал азиатцев у себя дома, да и в тот день, когда бывал у них на подворье или с ними был в знаменитом рядском трактире у Арсентьяча, он всегда в этот день приказывал затопить баню в саду и парился веником с «молодцами» из молодцовской, сидя на полке, просил поддать пару и приговаривал, стегаясь веником:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.